

Майя Кучерская



ЛЕСКОВ:
Прозёванный
ГЕНИЙ

Майя Александровна Кучерская Лесков: Прозёванный гений

*Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=66383078
Лесков: Прозёванный гений: Вимбо; Москва; 2023
ISBN 978-5-00224-541-3*

Аннотация

«Прозёванным гением» Николая Лескова окрестил Игорь Северянин. Так и написал: «Достоевскому равный, он — прозёванный гений. / Очарованный странник катакомб языка!». И действительно: вроде бы кто не знает «Левшу», но притом прозу Лескова читают незаслуженно мало и плохо, зачастую только в школе из-под палки. А Лев Толстой называл его писателем будущего! Будущее уже наступило: самое время заново открыть для себя самого недооцененного классика XIX века, непревзойденного рассказчика, очеркиста, прозаика, чьи эксперименты с языком предвосхитили авангардные эксперименты начала XX века. Человека, по выражению Чехова, похожего одновременно на изящного француза и попа-расстригу, не укладывавшегося ни в какие шаблоны. Проводником в его удивительную жизнь стала писательница и филолог Майя Кучерская. Ее биография Николая Лескова написана на грани документальной и художественной прозы: одновременно внимательное исследование и личное послание любви.

«Жизнь Лескова, вместившая смерть маленького сына, безумие жены, несправедливое увольнение с государственной службы, многолетнюю травлю, отторжение современниками, вполне потянула бы на трагедию. Но всё в ней вечно скатывалось в водевиль, сползало в житейский скандал. И не потому, что Лескову недоставало масштаба, – изменилось время, и герой его вместе с ним. Там, где раньше бунтовали, стрелялись, гибли на дуэли за единственное слово, где устраивали шумные дружеские пиры, теперь стоял грязный трактир, шумела попойка. Вместо дуэли могла разразиться лишь мутная разночинная драка, взамен прежних сражений разливалась дрязга.

*Всю жизнь Лесков напряженно искал, что можно этому противопоставить, на что опереться, а набредал всё на одно: золотое иконописное небо, вечность, красота кроткой и умной души и сокровищницы родного языка». – **Майя Кучерская***

Содержание

Предисловие	6
Глава первая	18
Проводы	18
Старинный город	26
Панин хутор	39
Севск: бурса	53
Глухов – Киев	78
Глава вторая	96
Лестница в небо	96
Конец ознакомительного фрагмента.	110
Комментарии	

Майя Александровна Кучерская Лесков: Прозёванный гений

Иллюстрация: Юлия Стоцкая

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

© Майя Кучерская

© ООО «Вимбо»

* * *

Предисловие

Лесков был человеком разорванным. Его постоянно «вело и корчило», растаскивало между скепсисом и восхищением, гимном и проклятьем, идиллией и сатирой, нежным умилением и самой ядовитой иронией, ангелом и *аггелом*¹ праведниками и злодеями.

Формула его художественного мира включала два полюса одновременно – плюс и минус^[1]. Присоединяться к одному из них ему было скучно, незачем; другое дело – держать в поле зрения оба, глядеть, как растет напряжение, вспыхивает молния, блещет текущий огонь.

Статья о петербургских пожарах, неудачная по интонации и не слишком глубокая по мысли, подорвала его репутацию, едва он начал путь в литературе. Написанный вскоре после этого роман «Некуда» о роковом заблуждении одних, нечистой игре других и глупости третьих, который приняли за пасквиль и донос, испортил ее окончательно. «Господин Стебницкий» – псевдоним, под которым он опубликовал «Некуда», – стал писателем нерукопожатным на долгие годы вперед: прежде чем широкая читательская публика снова повернулась к нему, должна была смениться не одна эпоха.

Жизнь Лескова, вместившая смерть маленького сына,

¹ Ангел – падший ангел, служитель дьявола.

безумие жены, несправедливое увольнение с государственной службы, многолетнюю травлю, отторжение современниками, вполне потянула бы на трагедию. Но всё в ней вечно скатывалось в водевиль, оползало в житейский скандал. И не потому, что Лескову недоставало масштаба, – изменилось время, и герой его вместе с ним. Там, где раньше бунтовали, стрелялись, гибли на дуэли за единственное

слово, где устраивали шумные дружеские пиры, теперь стоял грязный трактир, шумела попойка. Вместо дуэли могла разразиться лишь мутная разночинная драка, взамен прежних сражений разливалась дрязга.

Всю жизнь Лесков напряженно искал, что можно этому противопоставить, на что опереться, а набредал всё на одно: золотое иконописное небо, вечность, красота кроткой и умной души и сокровищницы родного языка.

Лучше многих про него сказал Чехов: «Этот человек похож на изящного француза и в то же время на попа-расстригу»^[21], – проницаая самое важное в Лескове-художнике: обостренное эстетическое чувство, тяга к прихотливому словесному узору, задорной языковой игре сочетались в нем с поповским началом, любовью к церковной культуре и жизни, пронизанной вместе с тем духом отторжения государственного православия (потому и «расстрига»). Официально Лесков не принадлежал к духовному сословию – священствовали его прадед и дед, отец после семинарии пошел в чиновники, – но в облике его и круге интересов всё-таки жи-

ли неистребимые поповские черты. Не один Чехов это в нем разглядел².

Лесков и в самом деле очень верил в очеловечивающую силу христианства: действенная любовь, жертвенное служение ближнему, чистота души, внутренняя цельность – для него всё это было не безвкусной жвачкой из очередной воскресной проповеди, а предметом веры. Он искал тех, кто обладает этими сокровищами. Людей до такой степени кротких, героических, добрых, смелых, кажется, не существовало на белом свете – тогда он их придумывал.

«Осенним расцветом идеализма» назвал эту особенность Лескова любивший его критик Михаил Осипович Меньшиков^[3]. Лесков – христианский идеалист. Он никогда не был таким изощренным психологом, как Достоевский или Толстой; наоборот, ему особенно удавались персонажи, существовавшие словно вне психологических законов, люди-иконы, обладатели образцовой нравственности или умений: старичок-травник Крылушкин, молочник Голован, княги-

² Известный еврейский историк, публицист и общественный деятель С. М. Дубнов (1860–1941) вспоминал посещение петербургской квартиры Лескова на Сергиевской улице (с 1923 года – улица Чайковского) в начале 1880-х годов: «На стенах висело много картин, преимущественно произведения иконописи. Что-то поповское было в лице хозяина, грузного пожилого мужчины с хитрыми хохлацкими глазами и несколько циничными манерами. При всём своем вольнодумстве, Лесков с особенною нежностью говорил о культе икон и о ликах святых, изображения которых висели у него на стенах» (*Дубнов С. М. Книга жизни: Воспоминания и размышления: Материалы для истории моего времени.* СПб., 1998. С. 100).

ня Протозанова, мастер-волшебник Левша, солдат на часах Постников. Часто он находил их в прошлом, в старой сказке.

И вместе с тем остро волновала современность, злободневные вопросы и темы, но всерьез любил он, кажется, кроме праведников, только людей старинных, которых называл «антики», их и весь русский патриархальный мир, на глазах опускавшийся в Лету, и описывал его с неизменной улыбкой – печальной, теплой. Целовал в макушку, не боясь показаться смешным. Это не мешало ему оставаться поклонником европейского просвещения, общественного прогресса, безграмотность и рабство вызывали в нем отвращение и ярость. По широте взглядов, например, на еврейский вопрос Лесков намного опередил свое время. Он проповедовал внимание и терпимость к чужой культуре и ценностям в те времена, когда принцип толерантности еще не был сформулирован в пространстве светской мысли, хотя слова «...ни эллина, ни иудея...», конечно, давно уже были произнесены.

Он мечтал жить среди ангелов, в мире, где нет ни схваток, ни подлости, ни страстей, еще и потому, что слишком хорошо знал их разрушительную силу. Его самого жгли черная зависть, злоба, жадность к деньгам. «Ты о Христе пишешь, а сам чёрт чёртом, только рогов недостает», – сказала ему однажды его приемыш Варя, которой он дал две пощечины за то, что посмела завить себе волосы^[4]. «Лесков говорит о милосердии, а в глазах у него черти бегают»^[5], – записала в своем дневнике литератор и актриса Софья Ивановна

Смирнова-Сазонова.

Гнев, раздражительность, деспотизм топило в себе другое неистовство.

«О необузданном, садистическом темпераменте Лескова на сексуальной почве ходили среди писателей чудовищные слухи... – вспоминал другой его современник. – За кофе с ликером Николай Семенович мечтательно заметил: “Какой-то кесарь засыпал своих гостей розами, так что они под ними задохнулись. Я также, вероятно, задохнусь. Но не от роз... А хотел бы я, чтобы на меня сыпались женские сердца... сотнями, тысячами... красные, горячие... Я валялся бы среди них, целовал бы их взасос, разрывал бы их пальцами, грыз бы зубами, и задохнулся бы от сладострастия!”»^[6].

Литератор Павел Пильский сохранил удивительное свидетельство критика Александра Измайлова. Тот увидел в кабинете на столе у Лескова «прекрасный крест на слоновой кости, чудесной работы, вывезенный из Иерусалима». Однажды, «в минуту откровенности», Лесков обратил внимание Измайлова на вставленное в перекрестье кругленькое стеклышко. Приблизив крест к подслеповатым глазам, Измайлов оторопел: под стеклышком была неприличная картинка^[7].

«Красивые женские лица, нежные и томные, а рядом с ними старинного письма образ или картина на дереве – голова Христа на кресте в несколько сухом стиле Альбрехта Дюрера»^[8] – так описывала его кабинет писательница Любовь Яковлевна Гуревич.

Тот же Измайлов, однажды зайдя к Лескову невзначай, увидел, что он стоит на коленях, отбивая земные поклоны.

«Измайлов осторожно кашлянул, Лесков быстро оглянулся, заерзал по ковру и растерянно, быстро заговорил, как бы оправдываясь:

– Оторвалась пуговица, знаете... вот, всё ищу, ищу... никак не могу найти...

И он для вида стал шарить рукой по ковру, будто и в самом деле что-то искал.

Все, знавшие этого человека, в один голос упоминают о его прожигающих глазах, светившихся распаленной огненностью»^[9].

Лесков для сегодняшнего российского читателя – автор «Левши», для зарубежного – «Леди Макбет Мценского уезда», которую знают по опере Шостаковича. Но на самом деле его рассказ-визитка – «Чертогон»: дядюшка рассказчика ныряет в бешеный ночной разгул, с пьяным пиром, музыкой, цыганами, а нагулявшись всласть, также пламенно замаливает ночные грехи в женском монастыре перед богородичной иконой. В другом рассказе, «Дворянском бунте...», отец Василий, алкоголик с добрым сердцем, после запоя, на покаянной молитве «просветлевал до прелести», «невыразимой и неописанной», так что при красноте лица своего напоминал «огненного серафима»^[10].

Многое из того, что делает человека человеком, – образование, профессия, дружба, супружество, отцовство – у Лес-

кова или было «разбито на одно колено», как говорил он о своем первом браке, или вовсе отсутствовало. Системного образования он не получил – имел за спиной три гимназических класса. Профессиональным писателем стал не сразу и не до конца, всегда искал других, более надежных занятий. С официальной женой не ужился, с «гражданской» – тоже. Дочерью Верой почти не занимался; сына Андрея, будущего своего биографа, больше мучил, чем воспитывал. О «сиротку» Варю, которую приютил уже стариком, скорее грелся – буквально: борясь с одиночеством, клал ее, маленькую, с собой в постель; страшно подумать, как это интерпретировали бы сегодня. Приятели в его жизни случались, как и внезапные сближения, но дружба, требующая доверия, искренности, постоянства, – никогда.

Возможно, именно эта неприкаянность, неспособность пристать ни к одной из испытанных традицией пристаней определили интерес к нему в колеблющемся XX веке. Дожив почти до конца XIX столетия, он действительно стал фигурой переходной. Лесков едва ли не первым из русских прозаиков осознал, что объектом изображения может стать слово как таковое, его журчание, клеткот, цоканье, мычание, чавканье, кашель, скрип, кряканье, звон. И отправился в свободное плавание – в живой язык, русский письменный, русский устный. Страсть к редким, диковинным словечкам, которые Лесков собирал по крупичкам в записные книжки, чтобы потом гурмански раскатать по нёбу, спустить в горло мелкими

глотками, была не слабее, чем все другие.

Его тяга к эстетическому наслаждению была тягой к за-
претному, потому что сталкивалась с иной линией, мейн-
стримом российской словесности второй половины XIX ве-
ка, который и сам он открыто поддерживал: литература
должна воспитывать. «Я совершенно не понимаю принципа
“искусства для искусства”; нет, искусство должно приносить
пользу – только тогда оно и имеет определенный смысл»^[1], –
говорил он уже стариком, повторяя то же, что заявлял в мо-
лодости³. Должно-то должно, но чем дальше, тем сильнее
он любил красоту слова как такового, от проповеди отде-
ленного. Поэтому и отношения с читателем Лесков выстра-
ивал иные, более отстраненные и прохладные, чем Толстой,
Достоевский, Тургенев и Гончаров, зато с языком – интим-
ные, влюбленные. Читатель ему этого не простил. Но то, что
помешало любить Лескова читателям XIX века, определило
интерес к нему в первые десятилетия века следующего.

О нем думали и писали Василий Розанов, вглядывавший-
ся в суть лесковского консерватизма, Максим Горький, лю-
бивший его за демократизм, оригинальность таланта и назы-

³ В 1861 году в статье «О замечательном, но неблагоприятном направлении неко-
торых современных писателей», опубликованной в «Русской речи», Лесков пи-
сал: «Пользоваться неразвитием общественных вкусов и понятий и стараться мо-
рить общество со смеху, когда нужно говорить о деле, – недостойно литературы,
от которой в настоящее время русская жизнь вправе требовать серьезного слу-
жения ее интересам» (*Лесков Н. С. Полное собрание сочинений*: В 30 т. Т. 1. М.,
1996. С. 379).

вавший «волшебником языка». Языковая вязь и стилистические игры Лескова привлекали и Дмитрия Мережковского, и Алексея Ремизова, и Евгения Замятина, и Бориса Пильняка. «Достоевскому равный, он – прозёванный гений. / Очарованный странник катакомб языка!» – писал Игорь Северянин в стихотворении «На закате (1928).

Но хотя странствия по катакомбам языка сближали Лескова с литературным модерном, как сказал Северянин в том же стихотворении, «никаким модернистом ты Лескова не свалишь» – он был шире.

Всё русское – уклад, душу, веру – он понимал не умом, не сердцем – печенью. И видя мрачные бездны и героизм русского характера, его благочестие и дикость, авантюризм и апатию, желание оседлать, а еще лучше обхитрить судьбу, но вместе с тем и покорность ей, любил его именно таким. Это трезвое русопятство, не исключавшее глубокого почтения к европейской цивилизации, – еще один ключ к миру Лескова.

Напоследок о том, как написана эта книга.

Я люблю сочинять художественные тексты: придумывать несуществующих мужчин и женщин, детей и бабушек, их встречи, сны, разговоры, озарения, а заодно рассказывать о том, как светится только что вылупившийся из почки лист в луче апрельского солнца, как трещит крыльями юная стрекоза над заросшим кувшинками прудом. В равной степени я люблю искать реалии, литературные и жизненные, кото-

рые легли в основу того или иного художественного произведения, выяснять, как эпиграф соотнесен с замыслом текста и кто тот забытый автор, чье сочинение послужило основой... словом, заниматься филологией, комментированием и историей литературы. Люблю тишь библиотек, гору ветхих журналов на столе с внезапным инскриптом, приютившимся между лиловой библиотечной печатью и экслибрисом; особенный запах старых книг, рассыпающуюся брошюру, принесенную в картонной коробочке, обвитой волосатым шнурком, которую так интересно разглядывать и нюхать под железной зеленой лампой.

Работая над книгой, которую читатель держит в руках, я решила не снимать очевидного противоречия, не переключать в себе филолога на писателя и наоборот.

В конце концов мой герой тоже соединял в себе и писателя, и публициста, и исследователя; сложись его судьба иначе, он мог бы стать серьезным ученым. Поэтому в этой книге немало ссылок, в том числе на архивные документы (многие обнаружены и упомянуты впервые), и литературоведческих соображений. Отсутствие ссылок – сигнал читателю: перед ним реконструкция, основанная на мемуарах, документах, текстах Лескова. Особенно последовательно события и факты реконструируются в начале книги, описывающей то время, когда Лесков для потомков нем. Первое его сохранившееся письмо датировано декабрем 1859 года, когда автору было без малого 29 лет; до этого – ни слова, ни звука! Оста-

ется восстанавливать, как всё было в эпоху его безмолвия, по его поздним скрупулёзным свидетельствам и сторонним документам, вооружась здравым смыслом, а иногда фантазией. Едва мы вступаем во времена, когда Лесков, наконец, заговорил, вольных догадок в этой книге заметно убавляется, зато разборов лесковских сочинений прибывает. Слова писателя суть дела его.

Надеюсь, что переключение из одного регистра в другой не потребует серьезных усилий. Впрочем, на читателя, вовсе не готового к ним, я и не рассчитываю.

Самое время поблагодарить всех тех, без чьей читательской и профессиональной помощи я ни за что бы не справилась: Е. Н. Ашихмину, А. А. Бородина, М. А. Вишневецкую, Е. С. Коробкову, А. В. Машукову, О. Е. Майорову, М. С. Макеева, В. А. Мильчину, М. С. Неклюдову, Т. К. Слуцкую, Л. И. Соболева, М. Л. Степнову, С. И. Труфанову; А. В. Полозову (Центральный государственный исторический архив Украины, Киев), увы, уже покойную Т. А. Евневич (Государственный архив Пензенской области), стоически прочитавшую самый первый, а затем и последний вариант Е. С. Холмогорову, моих первых читателей и библиографов В. И. Буяновскую, М. Р. Хамитова, а также сотрудников Российского государственного архива литературы и искусства, Рукописного отдела Пушкинского Дома, Рукописного отдела Литературного музея города Орла и Дома-музея Н. С. Лескова, и, конечно, моего мужа и постоянного советчика А. Л.

Лифшица.

А теперь увяжем покрепче узлы, бросим в ноги холщовый мешок с провизией, усядемся поудобнее в легкую бричку. Вперед, за нашим героем!

Он немало времени провел в пути, многих своих персонажей сделал странниками, путниками дурных русских дорог. Несколько его сочинений – один из первых очерков «В тарантасе», роман «Некуда», повести «Смех и горе», «Очарованный странник», рассказ «Отборное зерно», очерк о Гоголе «Путимец» – открываются дорожными сценами. Его герои вообще часто перемещаются по белу свету, все они – путимцы, которые ищут правду.

Вот и писателем Лесков стал, кажется, в дороге: его литературная карьера началась с путевых писем, полных сценок, которые он подглядел, историй, которые подслушал.

В путь!

Глава первая

Дорожные сны

Чудная вещь старая сказка!
Н. С. Лесков. Собрание

Проводы

Юноша спит, слегка посвистывая во сне. Новенький суконный картуз сполз на нос — из-под широкого козырька видны только темные усы, круглый подбородок в прозрачной поросли, губы — пунцовые, пухлые.

Ветерок омывает лицо и шею, в скулу бьет вдруг тугая пуля — очнувшийся шмель или муха; юноша вздрагивает, сдвигает картуз, поводит сонными испуганными глазами. Вдоль обочины толпятся березки в легком сиянии первой листвы, в птичьей трескотне. За березками — распаханное поле. По острой зеленой травке всходов удивленно расхаживают черные грачи.

Даль ясна, как бывает лишь ранним утром в мае; дорожная лента видна на много верст. Пыль прибил мимолетный дождь на рассвете, колеса стучат глухо, бубенчик погромыхивает в такт. Юноша клюет носом вместе с другими пас-

сажирами пожилого тарантаса, едва вместившимися в эту «помесь стрекозы и кибитки», как изволил пошутить один полузабытый сочинитель – тень его еще мелькнет на страницах нашего повествования. Тот тарантас, впрочем, скрипел на русских ухабах много раньше, теперь же на дворе 1850 год⁴.

Кавказская война идет на убыль, имам Шамиль уже готов сдаться русским.

Лев Толстой твердо решает покончить с беспутной светской жизнью, делать гимнастику и вести дневник.

В столице начинаются гонения на философию: польза от нее не доказана, а вред возможен.

В петербургском Дворянском собрании проходит последний в сезоне бал, а в ночи маскарад, цена билета на маскарад – два рубля.

Достраивают Николаевскую железную дорогу.

Достоевский только что отметил свою первую в Омском

⁴ Согласно большинству имеющихся сведений (см. Хронологическая канва жизни и деятельности Н. С. Лескова / Сост. К. П. Богаевская // Лесков *Н. С.* Собрание сочинений: В 11 т. Т. 11. М., 1958. С. 801), Лесков в первой половине 1850 года жил в Киеве. Однако недавние архивные находки свидетельствуют, что в апреле он, скорее всего, находился в Орле: подписанный им собственноручно «Рапорт Орловской Градской Полиции», который разумеется, составлялся в орловской палате Уголовного суда, датирован 11 апреля (см.: *Ашихмина Е. Н.* Лесков в Орловской палате Уголовного суда: новые автографы писателя // Ученые записки Орловского государственного университета. Серия «Гуманитарные и социальные науки». 2009. № 1. С. 184). Как бы то ни было, мы позволили себе посадить молодого Лескова в тарантас, направлявшийся в Киев в начале мая указанного года.

остроге Пасху.

Тургенев нарисовал толстую собачку в письме Полине Виардо.

Днепр освободился от ледяных оков, и англичане вновь с жаром принялись за строительство моста.

Газета «Северная пчела» сообщила о рождении козленка с ястребиной головой.

Юноша сладко спит. По устам его скользит улыбка, словно и во сне он помнит, что едет в далекое, взрослое путешествие, в чудный Киев, к дядюшке.

Остается лишь скользнуть беззвучно сквозь густой ресничный лес, заглянуть по ту сторону дрожащих век нашего героя, отметив по пути: сыровато, уж не пустит ли он вот-вот слезу?

Ба, да он на пиру! Сизый табачный дым стелется над столом с остатками закусок, лепится клоками к желтеньким обоям, заслоняет дешевую народную картинку. Кто там? Бова на коне, Еруслан на хвостатом драконе? Не разглядеть. Возле стены – батарея пустых бутылок, одна прилегла – сил стоять нет. Гости расшумелись, покраснелись, поют.

Дым столбом – кипит, дымится пароход... Православный веселится наш народ!

Регентует чернокудрый Евген, стоит посреди комнаты, густым голосом ведет неумелый хор. Глистовидный Георгиевский в коричневом франтове, добытом по случаю на Ильинке, вьется рядом, машет руками, совсем не в лад. Рябоватый

Лавров, Жданов с красной шишкой на скуле оседлали ступля и скачут. Гладко выбритый Вася Иванов, дядька Опанас в вышиванке поют тоже. *И быстрее, шибче воли мчится поезд в чистом поле!*

Ни один из них в настоящем поезде пока не ездил, поезда не видал. Только через 20 лет дотянется до Орла железная дорога. Но песня веселая, тема в масть.

Один хозяин не поет, стоит, опершись о дверной косяк, смотрит, будто издалека. Ему тянет душу: хоть и рассказывал всем, будто покидает Орел на месяц-другой – поглядеть на Киев, осмотреться, знал – не вернется ни за какие пряники, вцепится в скупое дядюшкино гостеприимство зубами, и... ни за что. Глохлый, прогорелый город, прощай. И не задорный мальчишник это, не проводы – похороны.

Никогда больше ему не пить с ними, не петь, не ворочать в канцелярии пыльные связки дел, не кунать перо в помадную банку с чернилами, не курить на дворе под анекдоты и молодецкий гогот.

...Только зачем же лошади скачут мимо, под густой окрик ямщика, почему захлебывается колокольчик?

Юноша распаивает глаза. Воздух рвется от звона – взбивая пыль, мчит курьерская, с колокольчиком и бубенцами. Он смаргивает слезу, промакивает щеку ладонью. Звук тает. Как и не было сытой тройки с крытым экипажем. Впереди только избенки выступившей за поворотом деревни. Попутчики его тоже начинают потягиваться, просыпаться. Он гля-

дит на них сквозь ресницы, ему лень знакомиться, что-то говорить.

Прямо напротив широко зеваает плотный русобородый купец: взгляд цепкий, глаза в зелень, чистый крыжовник, а руки ленивые, полные, мягкие. Рядом мелко моргает тщедушный приказчик, он при купце, судя по стриженной челке и чинному виду, из староверов. Слева посапывает, откинувшись назад, кудрявый молодец, кровь с молоком. Возница придерживает лошадей – навстречу бредет стадо. Несет навозом и бедностью; коровы за зиму исхудали, идут, покачиваясь, норовят ущипнуть по дороге хоть листик жмущейся к забору ботвы. За ними плетется белобрысая девка, тоже будто после болезни: щеки бледные, под глазами синева, едва держит кнут, на ходу спит.

Голова раскалывается, во рту мертвая слепопоечная сушь. Юноша судорожно сглатывает, снова ныряет в забытие. Слышит сквозь дрему, как соседи знакомятся и сейчас же сближаются друг с другом, как умеют сближаться в дороге одни лишь русские люди.

Звучит раскатистый смех, льются-переливаются слова – вещество, воровство, погуливать...

– ...Где народ, там и воровство, – рокошет сочный купеческий голос.

– Ну, нет-с. У немцев воровства не бывает. Мне артельщики из Петербурга сказывали, – сыплет звонкий тенор. – И у шведов нигде не встретишь.

– Брежут, – обрывает купец.

– Чего им брехать? *Брежет брох о четырех ног.*

Брох, черный молодой пес в ржавых подпалинах, привязан на базарной площади к телеге, дышит теплым паром; по вытоптанному на площади снегу шагает гусь, глинистого окраса, любимец протодьякона. Навстречу ему – белый крепыш квартального. Слышится яростный гогот, рыжий пух вспархивает над бойцами, но внезапно меркнет ясный снежный свет...

Он опять в тарантасе, кудрявый сосед тормозит его и странно булькает горлом.

– Гы-гы-гы. Вот так спит, хоть в гроб клади...

– Рано еще совсем, рано, – бормочет юноша.

– Неравна рана, иная рана бывает с полбарана, – слышит он в ответ и не понимает ни слова. – Вылезай, говорят, прибыли! То-то и оно, что не убыли, а прибытку-то всякий рад.

Юноша окончательно просыпается. Смотрит на балагура. Глаза у юноши – черные, злые, на дне плещет досада. Такой оборвали сон... А вдруг протодьяконский одержал бы верх!

Тройка стоит возле дверей неказистого заведения, сильно вытянутого и деревянного. У склоненного набок крыльца яростно чешется по-весеннему грязный пес, не обращая внимания на новых посетителей. Все уже заходят в трактир.

– Как прикажете величать?

– Николаем, – хмуро цедит молодой человек и добавляет через паузу: – Семенов сын. Пить охота!

– Николай Семенович, – с иронией в голосе повторяет приказчик. – Ну а я Судариков буду, Никита Андреевич, из Нижнего. Ехали долгонько, решили заглянуть в заведение. Не угодно ли будет... Вот и попьете.

Подкрепись в честной компании «бальзаном» со стерлядью, вновь рассевшись в тарантасе, в разговор затягивают наконец и черноглазого юношу. Николай Семенов сын рассказывает, что служил в Орловской уголовной палате, нынче же едет в Киев, к дяде-профессору, чтобы поступать летом в Киевский университет. Говорит, как пишет, врет – глазом не моргнет и сам себе верит. Русобородый купец знал, оказывается, его отца – тот приезжал к ним в Елец расследовать одно дело. Всякий трепетал тогда Семена Лескова... Незаметно летят за разговором версты.

– Кромы! – басовито роняет возница.

Снова вставать, разминать сомлевшие члены. Слезли, отряхнулись, потянулись, опять пошли пыхтеть за самоваром.

Кромы Николай знал как свои пять пальцев, до последнего кривого проулочка – сколько раз проезжал здесь гимназистом, по пути в родной Панин хутор с отцом или кучером Антипом, забиравшим его на каникулы.

Городок славился крепкими лукошками и фальшивыми паспортами. Но сейчас стоял мирно, застенчиво, зацвели яблоневые сады – в Кромах особенно густые, тенистые. Оторвавшись от остальных, Николай пошел по знакомым ули-

цам. Потолкался на Крупчатной и дождался-таки – паренек с кулем на плече сыпанул в него мукой шулки ради, забелил рукав сюртука. Обернулся, закричал ему грозно, но баловник уже нырнул в какую-то незаметную дверь.

Пошел к Главной. На ней когда-то стоял дом, в котором зимовал сам батюшка Степан Тимофеевич Разин, но сейчас пройти тут можно было только по тонкой досочке – с весны и до самой сухой жары Главная превращалась в глянцеви́тый коричневый пруд. Повернул к Московской, самой нарядной, с несколькими каменными домами, с нее на Рядскую: здесь тянулись лавки со съестным и железным и стоял трактир. На цирюльне сколько уж лет висела фанерка с надписью: «Сдеса кров пускают и стригут и бреют Козлов». Перечитал и в который раз засмеялся.

Из раскрытой двери трактира дохнуло запахом вареной гречки – и он вспомнил вдруг свой дорожный сон целиком: гусями он только закончился, на гоготе оборвался. До этого ему привиделись снег и пахнувший гречкой родной Орел, который чем дальше отодвигался, тем становился милее.

Старинный город

Зимой город хорошел, стоял как обряжен.

Черную бездонную лужу у недостроенного собора, ветхие флигели усадьбы графа Каменского с подушками вместо стекол, груды досок у домов вечно строившихся мещан, канавы, разрытые вдоль дорог свиньями, – всё покрывал милосердный снег. Соборная лужа стекленела, кривые улочки, побелев, прямели. Снежным светом искрились сады; домишки, нахлобучив на тесовые крыши снеговые шапки и словно подбоченясь, глядели первостатейными купцами.

Тишина над городом вставала такая, что, когда в Девичьем звонили часы, в домах у Плаутина колодца разговор прерывался: требовалось переждать, как отзвонят. Даже лошади ступали по снегу беззвучно. Разве изредка всхрапнет какая да вскрикнет с долгой зимней доуки петух.

В любое время года жизнь города к середине дня замирала, всё погружалось в послеобеденный сон, но зимой правило это обращалось в закон непреложный, почти священный.

Даже медник Антон, городской антик и изобретатель, прекращал лазить каждую ночь на крышу, глядеть в плезирную трубку на зодии⁵ – слишком скользко. Сидел в своей каморке, шлифовал стекла.

Блаженный Фотий, с жуткими розовыми глазами, на вре-

⁵ Плези́рная трубка – подзорная труба; зодии – 12 зодиакальных созвездий.

меня холодов поселялся Христа ради в баньке купцов Акуловых. И Голован-молочник не стучал по вторникам и четвергам в дверь.

Исчезали и запахи, в воздухе звенела одна сиреневая свежесть.

Пристань, хлебная да соленая, в летнее время тесная от грузчиков, подрядчиков и десятских, замирала вместе с Окой. Суда зимовали под снегом по правому и левому берегу. Рабочий люд, из тех, кто нанимался весной на барки, затягивал пояса потуже, считал копейки и позевывал во весь рот, уже и не ропща на зимнюю тяготу – ропщи не ропщи, у всех теперь два друга – мороз да вьюга. Живи летними запасами и отсыпайся вволю.

Только по утрам зимнее царство ненадолго оживало: вспрыгивал упругой дугой колокольный звон, из печных труб вылетал дым – особенно пахучий в Заокской части, самой бедной, ветошной. Дрова заокским были не по карману, вот и топили гречневой лузгой, а кто и навозом. От такой топки и морозный утренний сумрак теплел, делался духовитым.

В кромском трактире Николай заказал гречневую кашу. Как там в Киеве – варят ли, любят ли гречу? Хотел запастись ее вкусом и запахом впрок.

Вскоре хозяйский сынок, чернявый отрок с напыженным вихром и удивленным взором, поставил перед ним целый горшок с разваристой и душистой гречкой, следом

и огурчики из зимних запасов, и квашеную капусту. Он вдыхал, ел, вспоминал дальше.

Он любил и этот гречнево-навозный запах, и мороз. Мальчиком, едва вставала Ока, бежал с ребятами на берег, тащил на гору ледянку-плетушку, вымазанную коровьим навозом, снизу политую водой и замороженную. Великая драгоценность – ледянка! И метили ее, и прятали – всё равно случилось не уследить. Ему соорудил плетушку Антип, их дво-ровый, кучер и мастер на все руки. И всё-таки в одну зиму у него ледянку стащили, так и не нашел – что ж, съезжал на «заднем колесе», а потом Антип смастерил ему новую.

В праздники ходил с братьями глядеть, как под монастырем на льду бьются на кулаках мещане с семинаристами, стена на стену. Бивались на отчаянность. Правила были: бить в подвздох, по лицу – ни боже мой и не класть в рукавицы медяки. Только правила эти не всегда соблюдались. Вот и получалось: побьют парня до бесчувствия, стащат на руках домой – и отысповедовать не успеют, как уже преставился.

На Кромской площади спускали бойцовских гусей. Гусь отца протодьякона, когда дрался, гоготал так, что дети визжали, бабы крестились, жутко делалось даже мужикам и смешно своего страха. Только и протодьяконский перед гусем квартального Богданова тушевался. Богданов не чаял в нем души, нянчился, как с младенцем. Знакомую площадь Николай и увидел во сне, причем сверху – приснилось ему, будто над городом он летал.

Квартальный шагал по Кромской грузно, важно, за спиной плетеная клеть, в ней – сокровище, серый богатырь, доблестный воин. Хозяин не спускал с него глаз: лишь бы не навредили, не накормили моченым горохом, не подбросили под лапы гвоздик. И никогда ведь герой не подводил. Случалось, во время сражения входил в такой раж, что и у живого бойца крыло отрывал.

Первым прыгнул серый, глинистый загоготал раскатисто, жутко... тут Николай проснулся под тыканье Сударикова, пустобреха.

Гусиными и кулачными боями в Орле развлекались издавна; об этом Николаю рассказывали и дед, и отец. Но и во времена его детства город жил еще по-старинному.

«Табашников» презирали, бабушка по материнской линии Акилина Васильевна Алферьева плевалась и крестилась при одном только слове «табак». И торговала табаком единственная лавка в городе. Трактир тоже был долгие годы один, и, если кто из молодых парней туда заглядывал, такого клеймили «трахтиршыком». Что значило: тьфу, в женихи не годится! Полиции в городе не было, караулили сами жители: ходили вокруг и стучали колотушкой, опасаясь не воров, а пожаров.

Старинная сказка глядела, чуть насупясь, из каждого окошка в наличниках, подперев кулаком голову в чепчике, завязанном под подбородком бантиком.

Акилина Васильевна помнила, как в Орел прибыли плен-

ные французы – голодные, рваные, замотанные в тряпье, «косматые, яко звери». Их жалели, подавали хлеб, кидали одежду, но принимать басурман на квартиру боялись – пленных опередил слух, что они заразные, оттого и мрут. На ночь французов загнали в нетопленные казармы, наутро половину повезли хоронить. Нашлось доброе сердце, повивальная бабка Василиса Петровна. Жила она на краю Новосельской заставы и на собственный вкус выбрала себе несколько самых жалких пленников. Поселила их в своем доме и ухаживала, как за родственниками. Гнать французов дальше не торопились, так что вскоре Василиса истратила на их содержание всё, что имела, и начала ходить по городу, собирать постояльцам на пропитание. Акилина Васильевна обязательно ей подавала.

Когда постой кончился и ее пленных «робят» вместе с другими повели из города, Василиса расколола всю посуду, которой они пользовались, на мелкие черепки и выкинула в поганую яму. Есть из плошек, из которых ели «нехристи», она не собиралась.

Кое-кто из доходяг остался в Орле – учить дворянских детей. Когда в 1825 году в город проездом из Таганрога в столицу был доставлен гроб с телом императора Александра, все рассеявшиеся по Орлу и ближайшим поместьям французы собрались на панихиду в собор. И не так уж мало их оказалось; отец шутил, набралось бы на полковой оркестр.

Собственный дом Лесковых стоял на Третьей Дворянской

улице – в зеленом, живописном месте, третьим от реки Орлик, в самой чистой части города, где располагались казенные здания и жило «общество». Между прочим, на Второй Дворянской когда-то проживал крепкий старик с огромной, выросшей в широкие плечи головой, на которой белые волосы стояли дыбом. «Голова тигра на геркулесовом торсе», – сказал про него Пушкин, заглянув однажды к нему в гости. То был «неудобный русский человек», генерал Алексей Петрович Ермолов, легендарный покоритель Кавказа. Пушкин заехал к нему в 1829 году, до рождения Лескова, а вскоре генерал покинул Орел, хотя впоследствии еще приезжал сюда – навещал могилу отца. На том же кладбище, по собственному завещанию, был погребен и сам 85-летний генерал. Он не раз потом попадал в сочинения писателя Лескова – и в роман «Некуда» под именем генерала Стрепетова, и в статьи о «Войне и мире» Толстого, и в заметки «Пресыщение знатностью» и «Геральдический туман», а напоследок стал героем отдельного биографического очерка.

Неподалеку от генерала жили подполковник Дмитрий Николаевич Тютчев (дядя поэта), Василий Петрович Шеншин (двоюродный дед другого поэта, Фета), в подаренной супругой орловской усадьбе бывал Сергей Николаевич Тургенев (отец писателя). Как с тайной иронией выразился однажды Лесков, Орел «вспоил на своих мелких водах столько русских литераторов, сколько не поставил их на пользу родины никакой другой русский город»^[12]. В свое время те же «мел-

кие воды» вспоят еще двух знаменитых русских писателей, Ивана Бунина и Леонида Андреева.

Отец нашего героя, Семен Дмитриевич Лесков, приобрел в Орле одноэтажный деревянный дом в августе 1832 года⁶, как только выхлопотал себе должность заседателя в Орловской палате гражданского суда и начал получать регулярное жалованье. Семейство его – супруга Мария Петровна и младенец Николай, – жившее до этого у родных жены в сельце Горохове, впервые обрело собственное гнездо.

Обвенчались Семен Дмитриевич и Мария Петровна за два года до этого, в 1830-м, на Красную горку, в приходском храме села Собакина, оно же Архангельское (село называли и так, и эдак – то по имени владельцев, то по названию расположенной здесь же церкви Архангела Михаила).

Жениху было уже 39 лет. Он успел и помыкаться, и послужить, и поездить по России. Невесте, которую он еще недавно обучал наукам как домашний учитель, исполнилось семнадцать.

Первенец Николай появился на свет 4 февраля 1831 года в Горохове. Мать его сама еще выглядела красивым милым ребенком. 11 февраля Николушку крестили в храме, где венчались его родители. Обряд совершил тот же священник Алексей Львов, старый знакомый семьи. Восприемником со-

⁶ События, происходившие в Российской империи, датируются по юлианскому календарю, а за границей – по григорианскому. В случае двойной датировки первой указана дата по юлианскому календарю.

гласился стать Михаил Андреевич Страхов, крупный помещик и большой сумасброд, а выражаясь прямее – человек ужасный и, возможно, безумный. Михаил Андреевич, глядевший, как священник окунает младенца в воду, и морщившийся от жалкого писка, даже в дивном сне не мог увидеть, что память о его диких выходках и тиранстве не растворится навек в едких водах неумолимой Леты и бессмертие он получит из рук вот этого красного пискуна⁷, который, едва его вынули из купели, пустил лимонную струйку прямо на ряску батюшке.

Когда Лесковы перебрались в Орел на Третью Дворянскую, Марии Петровне, тогда худой, быстрой, было 19 лет. Подобрав юбки, гремя ключами, она буквально бегала по новым владениям, казавшимся ей огромными и необыкновенно богатыми. Возле дома стояли и погреб, и ледник, и амбар!^[13] Отперла погреб – сыро, холодно, темно; спустилась на две ступени, разглядела на полу пустую рассохшуюся бочку. Припахивало мышами и дохлятиной; что ж, и вычистит, и приберет, сам погреб удобный – глубокий, просторный.

За домом раскинулся сад с яблонями, обсыпными – урожайный выдался год! Сохла несобранная смородина, зеленел крыжовник, темнела вишня; сорвала, пожевала – кислая, мелкая. Сад был сильно запущен, а руки на что? Между са-

⁷ Страхов стал прототипом сердитого помещика в рассказе Лескова «Зверь», безжалостного князя Сурского в романе «Обойденные» и чудаковатого князя Одоленского в повести «Смех и горе».

дом и забором тянулся огород, с другой стороны находились конюшня и каретный сарай – оттуда уже неслись бормотание Антипа и храп доморощенных косматых лошадей, впрочем, только что благополучно доvezших их из Горохова. Теперь забыть бы это Горохово вовсе!

Там они жили бедными родственниками. Дня не проходило, чтобы удары палками, розгами, охотничьим арапником или кучерским кнутом по спинам крепостных не отсчитывались на конюшне сотнями. Сам барин Михаил Андреевич нередко присутствовал при истязаниях, но будто и не глядел – равнодушно чистил розовые ногти под мольбы о помиловании. Немало утопленников принял в свои тинистые воды пруд в большом парке имения; кто-то от отчаяния и безысходности резался, кто-то вешался на чердаке. Старосту Антона барин сам избил до смерти^[14].

В Горохове у Марии Петровны только и было занятий, что следить, как бы Николаша не заплакал не вовремя, не испортил по младенчеству хозяйского, а Семен Дмитриевич не ляпнул по прямоте характера дерзость, – нельзя было подвести отца, много лет прослужившего у Страхова управляющим. Не дай бог обидеть лишний раз и старшую сестру Наталью Петровну, и без того обиженную – юной девушкой ее отдали в жены чудовищу Страхову в оплату за благодеяния.

Михаил Андреевич пригласил Петра Сергеевича Алферьева в управляющие в трудную для семейства минуту, освободил от уже подступавших унижений бедности. Бежав

из Москвы в 1812 году, Алферьевы потеряли свое состояние: все драгоценности, сбережения и серебро закопали у дома, но он сгорел в московском пожаре. Выгорела вся улица, осталось черное поле без единого деревца и иных примет, клад было не отыскать.

Горохово стало их спасением. И когда 46-летний Страхов попросил руки пятнадцатилетней красавицы Натальи, можно ли было ему отказать? Неудивительно, что переезд на безопасное от Горохова расстояние – добрых 47 верст, жизнь в собственном доме с тремя комнатами, детской и кабинетом наполняли Марию Петровну весельем и бодростью. С ролью хозяйки она освоилась быстро.

Вскоре на Третьей Дворянской воцарился спокойный, умный порядок: сухие деревья в саду были спилены и выкорчеваны, яблоки собраны и отчасти съедены, отчасти превращены в варенье, как и остатки смородины с вишней. Ненужную ветошь из кухни и амбара выгребли и сожгли во дворе. Погреб подсушили и вычистили.

Возле дома Мария Петровна разбила большую клумбу, на которой уже через год цвели красные и кремовые розы, нежно-розовые георгины, лимонный лилейник. По краю, не мешая их пышной красоте, высажена была желтенькая пижма, хорошо помогавшая от болей в животе и геморроя, а ее запах отпугивал вшей и клопов. Мария Петровна обильно сыпала высушенными цветками диваны, стулья, по шкафам подвешивала их в мешочках, сшитых собствен-

ными руками.

Жизнь семьи покатилась, наконец, по сухой, ровной дороге. Казалось, так теперь будет долго, всегда.

Семен Дмитриевич каждый день с утра уходил на службу, шел в присутствие пешком – благо близко: по Карачевской и Волховской, по мосту через Орлик. Из Гражданской судебной палаты он перевелся в Уголовную – заседателем «по выбору от дворянства»⁸. Местные дворяне, за глаза посмеиваясь над угловатыми манерами бывшего бурсака, ценили его за честность и дельность. Семен Дмитриевич и в самом деле стал вскоре одним из лучших в губернии следователей, проныцательным, неподкупным. В сложных случаях именно его приглашали в уездные и заштатные города Орловской губернии.

Мария Петровна занималась хозяйством: сама работала в огороде, шила, штопала, покрикивала на дворника, кухарку, но особенно грозно на Аннушку – гувернантку и няньку, крепостную девку, ровесницу, за кипучий нрав прозван-

⁸ Судебная палата включала в себя назначаемых председателя и советника и четверых выборных заседателей – по два от дворянства и от купечества (см.: *Троцина К.* История судебных учреждений в России. СПб., 1851. С. 323). В аттестате С. Д. Лескова, датированном 27 февраля 1839 года и воспроизводящем формулярный список за 1838-й, указывается, что он поступил на службу 15 февраля 1833 года «по выбору от дворянства» и «во время последнего служения по назначению начальства произвел несколько следствий», а также «два раза по губернскому правлению исполнял должность советника от двух до четырех месяцев» (цит. по: *Лесков А. Н.* Жизнь Николая Лескова: По его личным, семейным и несемейным записям и памятям: В 2 т. М., 1984. Т. 1. С. 423).

ную Шибаенок. Аннушка, или Анна Стефановна Калядина (со временем Лесковы начали называть ее Анной Степановной), умерла на 99-м году жизни, успев поведать кое о чем из прошлых лет сыну Николая Семеновича Андрею, летописцу его жизни. Правда, выудить из бывшей крепостной, по гроб жизни преданной хозяевам, удалось немного. Но внутренний ужас, с каким она приступала к одеванию и причесыванию молодой барыни, Анна Степановна помнила и через 80 лет.

Николай стал первым ее воспитанником.

Усидеть дома Аннушке было трудно, и она вела мальчика за калитку, к Орлику. Там на выгоне паслись соседские коровы, у одной родился теленок. Наглядевшись, как он сосет мамку, как неловко и смешно ступает по траве, брели к оврагу с обрывистыми краями и Солдатской слободе, где с весны до осени учили рекрутов. Прокопченные, как картошка на костре, в пыльной форме, солдатики шагали и разворачивались, строились и расходились. Когда кто-то сбивался, офицер, коротенький, плотный, визгливо кричал на виноватого, бил его палкой. Глядя, как вскрикивает солдат, как закрывает голову от ударов, мальчик плакал. Аннушка уводила его скорее прочь.

По дороге в городской парк они садились на широкую скамью передохнуть, глядели на обмелевшую от плотины Оку. Внизу на воде плескались голышом ребятишки – визжали, брызгались, катались на старой створке ворот, ловили в завя-

занные мешком рубахи мелкую серебристую рыбешку. Николаю хотелось плескаться с ними! Нельзя: он – барич. «В городе Семена Дмитриевича все знают, – наставляла Аннушка, – а ты его сын. Другое дело на воле, в деревне: при мужиках можно и выкупаться, кому что за дело, никто слова не скажет».

Нагулявшись, возвращались к Орлику. На берегу ютились хибарки Пушкарской слободы, в небе, блестя крыльями, кружили голуби, вспыхивал крест на Васильевской колокольне. Николай молился прямо туда, в сияющее синью небо: сделай, исполни, так, чтобы мне поехать в деревню, чтобы купаться там в речке, ловить рыбок, плавать на плоте, как *они*.

Молитва его была услышана.

Панин хутор

В тот день Семен Дмитриевич вернулся домой молча, скинул на руки Аннушке шинель, заперся в кабинете. Выдвинул из-под стола выдавший виды дорожный сундук, откинул крышку.

Вот они, старые семинарские тетради, так и лежат высокой стопкой. В семинарии учили не только риторике, философии и богословию, но и геодезии, медицине, сельскому хозяйству.

Первой Семен Дмитриевич вынул тетрадь в черном коленкоровом переплете, стер обшлагом пылицу, раскрыл в середине. На пожелтелой странице было выведено: *Ради повышения плодородия почвы потребно удобрять ее обильно.* Перелистнул: *Для сохранения пчел от мокроты, зноя и холода закрывать улей по бокам соломой.* Что ж, отчего бы и не завести пчел – мед полезен. Вспомнил, как зубрили стихи про пчел из Вергилия: *Venturaeque hiemis memores aestate laborem...*⁹ Не вышибешь семинарскую науку! Если сосредоточиться, мог бы вспомнить и всю эту песнь, когда-то выученную назубок.

Следующей лежала голубенькая тетрадь – как раз по латыни, на которой и преподавали в семинарии большую часть

⁹ Помня о скором приходе зимы, предаются работе...» (Вергилий. Георгики. Пер. С. Шервинского).

наук. Прочел среди латинских фраз и русские строки:

Тучных овец стада пастухи весною пасут,
В мягкой траве лежат, услаждая свирелью слух.

Quintus Horatius Flaccus. Впервые за эти дни Семен Дмитриевич улыбнулся. Сам отроком переводил когда-то из Горация – лучшего римского поэта.

Медлить довольно, забудь все расчеты, дерзай!

Нет у них Меценатов. Зато есть разум, воля, руки – заживут в деревне не хуже Горация. Обоснуются в сельце живописнее, в скромном бревенчатом доме. Станут подниматься по крику петуха, завтракать парным молоком и собственным хлебом. Пастух погонит поутру тучное стадо на заливные луга. Хозяин строго, но ласково будет наставлять мужиков, когда лучше сеять, как удобрять почву и получать обильные урожаи (читай черную тетрадь по сельскому хозяйству), а встанут потверже на ноги – займется и пчелами. Будут лечиться медом, печь медовые пироги, варить золотую хмельную медовуху к престольным праздникам. Семен Дмитриевич ясно ощутил в комнате сладкий и тяжеловатый аромат меда, различил гудение пчел, увидел, как по пестрому от желтых и сиреневых цветов лугу идет за стадом белоголовый пастушок, как молодые крепконогие бабы шагают с пением после работы в поле.

Толщьте, и отверзется вам. *Surge et age. Scientia vincet*¹⁰. Упрямо повторял он знакомые поговорки, точно частокол выставлял вокруг, пока не ощутил себя в надежной крепости.

Семен Дмитриевич ободрился, глянул в заиндевевшее окошко – на улице давно стемнело, в стекло царапал мелкий снег, – сложил тетради в сундук и пошел сообщать Маше о своем непреклонном решении: уйти из чиновников в отставку, сделаться помещиком, жить на доходы от собственного имения.

Маша ахнула. На какие доходы? От какого имения? Где оно? Ей мечталось, всё так и будет идти, как наладилось в последние годы: служба супруга в присутствии, его поездки по казенной надобности, завершавшиеся обычно триумфом и недурным вознаграждением, тихое, но неуклонное движение по служебной лестнице вверх, прибавление жалованья. В теплые летние вечера – самовар, ужины на веранде под пение соловьев и благоухание сада, беседа с милыми сердцу гостями. А публика среди приходивших к ним на Третью Дворянскую была пестрая: сослуживцы Семёна Дмитриевича, отец Павел из собора, отец Евфимий из гимназии, ближние и дальние соседи – гости и купеческой, и мещанской конструкции, и дворяне. И вот всё рушилось. Почему? Она еще надеялась, что не решено, что муж только советуется с ней, – напрасно.

¹⁰ Встань и действуй. Знание победит (лат.).

Семен Дмитриевич слов на ветер не бросал. Объявляя же не о решении уйти в помещики, он уже подал в отставку, не успев выслужить себе пенсии, ничего не сосчитав и не взвесив.

К тому времени семейство Лесковых выросло: в 1836 году появилась на свет Наташа, ставшая впоследствии монахиней Геннадией, никем, начиная с Марии Петровны, в семействе не любимая, в следующем – Алеша, напротив, материн любимец, будущий доктор, опора киевской части семьи. Двухлетний Петя, рожденный в 1834 году, умер в 1836-м; его похоронили на Троицком кладбище, описанном позже в «Тупейном художнике»^[15].

Много лет спустя Николай Семенович так объяснял внезапную отставку отца: «Он имел какое-то неприятное столкновение с губернатором Кочубеем (кажется, Аркадием Васильевичем), в угоду которому при следующих выборах остался без места как “человек крутой”. От отца требовали какой-то уступки губернатору, которую он будто бы мог оказать в виде вежливости, съездив к нему с визитом. Я помню, как несколько дворян приезжали его к этому склонить, но он додержал свою репутацию “крутого человека” и не поехал, а дворяне не нашли возможным его баллотировать»^[16]. Это объяснение художника – психологически достоверное, но с фактическими ошибками.

В 1839 году губернаторский пост в Орле занимал уже не Кочубей, а Николай Васильевич Васильчиков. Незадол-

го до отставки Семена Дмитриевича он ходатайствовал о награждении того чином за выслугу лет, и коллежский асессор Лесков сделался надворным советником. Производство в чин состоялось в мае 1838 года, а в отставку Семен Дмитриевич вышел в январе 1839-го. Что за кошка пробежала между ним и губернатором в эти полгода, неясно. Понятно одно: что-то в происходившем противоречило представлениям «крутого человека» о справедливости; судя по демонстративности жеста – выход в отставку без объяснений! грохотание дверью! – то была размолвка именно с губернатором. Возможно, и в самом деле ничего, кроме визита вежливости, от Лескова-старшего не требовалось, и в самом этом визите не таилось ни малейшего унижения его достоинства. Не захотел.

Позднее в цикле «Мелочи архиерейской жизни», включающем множество автобиографических деталей, Лесков описал один эпизод из своей семейной истории. Глава Орловской и Севской епархии Никодим (Быстрицкий), по прозвищу «архилютый крокодил», вопреки закону регулярно отдавал в солдаты представителей духовного сословия. Среди них были и единственные сыновья у родителей, и обремененные семьей дьячки и пономари. Однажды сдал он в рекруты и сына Пелагеи Дмитриевны, вдовой попады и родной сестры Семена Дмитриевича.

Отец, рассказывает Лесков в «Мелочах архиерейской жизни», поехал к епископу Никодиму восстанавливать спра-

ведливость и «в собственном его архиерейском доме разделался с ним очень сурово»^[17]. Спасти племянника от службы в армии Семену Дмитриевичу не удалось, но по этому случаю можно судить о его прямоте, смелости и вместе с тем безрассудстве – грубить духовному начальству было небезопасно. Мог ли губернатор откликнуться на эту историю, сделать чиновнику выговор? Вполне. И тем самым разгневать Семена Дмитриевича еще больше.

Официально из Уголовной палаты Семен Лесков выбыл 24 января 1839 года. Но уже в конце 1838-го, вероятно, предвидя отставку, он приобрел у генерала Александра Кривцова землю в Кромском уезде Орловской губернии – деревню Панино с прилагавшимися мельницей, санными покосами и всеми угодьями, а также деревню Александровку и два сельца – Гостомлю и Кривцово, вместе с 49 ревизскими душами с семьями^[18].

Леса здесь росло немного, местность была степная, земля хлебородная. Ее хорошо орошали маленькие, чистые речки. Одна из них называлась Гостомка или Гостомля; отсюда и пошло уточнение к некоторым лесковским рассказам: «из гостомельских воспоминаний». Покупка деревень, вместе называвшихся Паниным хутором, обошлась Семену Дмитриевичу в 20 тысяч рублей ассигнациями, которые он обязался уплатить Кривцову в трехгодичный срок, надеясь на продажу урожаев. Из домов, в которых могли бы жить господа, в Панине был тогда только «курничок» – мазанка

под соломенной крышей. Но той же зимой Лесковы приобрели еще одно сельцо – Гавриловское, вероятнее всего, с помощью родителей Марии Петровны, вспомнивших (хотя, скорее, принужденных к тому) об обещанных, но так и не отданных дочери пяти тысячах приданого. Тесть, Петр Сергеевич Алферьев, стал управляющим и в Гавриловском – здесь, в отличие от Панина, располагался уютный господский дом, куда Лесковы и переехали в начале 1839 года по санному пути. Семен Дмитриевич не желал оставаться в Орле и лишнего дня. В Гавриловском они провели еще две зимы, 1839/40 и 1840/41 года, пока не пришлось продать его за долги и обосноваться в Панине – окончательно к лету 1841-го^[19].

Дом на Третьей Дворянской улице покинули, но не продали; отдавать в чужие руки обжитое гнездо Марии Петровне было жаль. К тому же Лесковы пока не теряли надежды вернуться или хотя бы наезжать временами и сбереечь жилье для детей – им всё равно предстояло учиться в Орле.

Надеждам этим не суждено было сбыться.

Сначала дом сдали в аренду за 60 рублей в год, но через два с половиной года, в марте 1842-го, всё-таки продали, чтобы в оговоренный срок выплатить остаток долга Кривцову, не пожелавшему ждать. Денег всё равно не хватило. Выплатить долг целиком Лесковым помог Луциан Ильич Константинов – новый родственник, второй муж Натальи Петровны. Михаил Андреевич Страхов умер, когда ей было

27 лет, четыре года спустя она снова вышла замуж, на этот раз счастливо.

Луциан Ильич, отставной гусар Елисаветградского полка, красавец, щеголь, после женитьбы сделался «садоводом, художником и мечтателем», как описывает его Лесков, а также совестным судьей и председателем Орловской уголовной палаты. Константинов принадлежал к тем немногим родственникам, кто заслужил от племянника-писателя ласковое слово. Лесков ценил «дядю» за благородство, прямоту и за то, что он, как сказано в «Несмертельном Головане», был дворянин *au bout des ongles*¹¹. Но взгляды Луциана Ильича были «племяннику» чужды: слишком консервативен, очень уж активно защищает власть. Впрочем, быть милым и добрым ему это совсем не мешало. Наталья Петровна счастливо прожила с ним 38 лет.

Для Семена Дмитриевича и Марии Петровны переезд в деревню стал источником разочарований и едва посильных трудов, для их старшего сына – счастливой вольницей. Его подхватил поток свежих впечатлений, он нырнул в новые экзотические знакомства, неведомые прежде занятия и разговоры. Никогда в жизни он столько не гулял. Аннушку от него давно отставили: подрастали младшие – трехлетняя Наталья, двухлетний Алексей. Николаю зимой исполнилось восемь – совсем взрослый! Но не настолько, чтобы привлекать его к серьезной работе, и он бродил, где хотел, говорил, с кем

¹¹ До кончиков ногтей (*фрД*)

желал, часто не возвращался даже к обеду. Родителям было не до него — они трудились: мать занималась младшими детьми, правила огород, гоняла кухарку, сушила матрасы и подушки, выписала из города письменный стол, чтобы отцу было где разложить бумаги. Крестьяне прозвали барыню Лесчихой. Даже небольшое имение требовало немалых усилий. «Панок» уже не из книг и тетрадей постигал азы земледельческой науки, бился с мужиками, как мог.

Николай купался с ребятами в Гостомке, ловил пескариков, смастерил из тальника лук и пускал стрелы с шариком вара на конце. Он выучился ездить верхом и ходил в ночное, под тихий храп лошадей и клики ночных птиц слушал, наслушаться не мог рассказов у ночного костра. «Бежин луг» Тургенева он прочел много лет спустя и, как сам писал потом, «весь задрожал» от представленной там правды: с такими же деревенскими мальчишками он сам сидел летними росистыми ночами, варил в котелке «картошки», и говорили о том же.

О русалке, что сидит на дереве, спрятав в листве рыбий хвост, чешет волосы золотым гребнем и заманивает путников.

О жутком разбойнике Кудеяре, кинувшем в колодец красавицу Василису, которая так и плачет там до сих пор. О закрытых им кладках.

О колдунах. Мальчики знали их по именам.

Самый страшный, Гусак, еще недавно жил в Гаврилов-

ском, в крайней избе, ближней к лесу. Он умел исцелять людей и скот, а мог навести порчу. Посадили его раз за колдовство в тюрьму, нарисовал он лодочку на стене, плеснул на нее водой – разлилось прямо в камере озеро. Сел Гусак в лодку, только его и видели... Снова стал колдовать. Беглеца опять поймали, крепко всыпали и назначили в наказание дворником в один орловский дом без жильцов. Так он и живет там, метет двор, в котором нет ни листочка и ни единого человека, любит только осень да зиму, когда летит листва, когда сыплет снег.

Николаю казалось, что он знает, где тот двор, чудилось, что и дворника этого он видел, когда гулял с Аннушкой: косматый седой мужик с бородой по пояс – Гусак это, видно, и был.

Слушал, слушал ночные рассказы у костра, укрывшись продымленным овечьим тулупом, задремывал незаметно. Гусак прямо на глазах уходил в сырую землю. На поля, в васильках и лютиках, выезжал добрый молодец на коне – молодой Егорий светлохрабрый, по локоть в красном золоте, по колено в чистом серебре. Во лбу всадника розовое солнце, в тылу – месяц, по плечам – звезды перехожие.

Николай поворачивался спиной к костру. С небес опрокидывался ливень, разноцветного всадника размывало, краски текли каждая сама по себе, сливались в цветные озера. Он тянул их через тут же подобранную соломинку.

Первым пригубил пурпурный – и горящий этот цвет сей-

час же окатил жаром легкие, сердце, затек в живот, налил свежей силой; всех теперь можно было одолеть. Следующий – перламутровый – сделал его лучезарным; изумрудный – прозрачный, как роса на траве в утренних лучах, – наполнил весельем.

Вот что он будет делать, как вырастет, – рисовать красками. Всадника Егория в розовом рассвете, страшного Гусака с метлой, пропитанное дымком ночное в красноватых отблесках.

Днем Николай заходил к дедушке Илье, мельнику, и сказка складывалась дальше.

Под мельничным колесом жил водяной – мирный, прирученный, свой. Не то что леший – тот гулял по чаще, любил посвистать, дерзал даже приблизиться к самой мельнице и густевшему рядом ракитнику, чтобы вырезать себе новую дудку, а потом играть на ней в тени у запруд-сажалок, пугать рыбу. У родников и речек хоронились его подружки-русалки и одна дальняя родственница – кикимора.

Как-то раз брызнул грибной дождик, Николай забежал в пустой амбар, смотрит – в углу кто-то сидит, скромно потупившись, вроде женщина, в пыльном повойнике, с золотушными глазами, но лицо что-то очень уж странное... она! Кинулся прочь, побежал куда глаза глядят. В лесу его страх сейчас же заметили: филины затукали, леший засвистал в зеленую дудку, а чтобы попугать посильнее, схватил Кольку за ногу, прижал намертво к земле. Насилу вырвался, еле жив

воротился домой.

После всех этих ужасов Николая, чистосердечно признавшегося родителям, как он потерял каблук, засадили за Священное Писание, а мельнику Илье строго-настрого велели не дурить мальчику голову и держать свои небылицы при себе. Несколько дней Илья в разговоры с барчком не вступал, отворачивался и уходил, пока принесенная из родительского сада чашка вишен не растопила его сердце.

Шло последнее для семьи Лесковых спокойное лето. Отец еще был бодр душой, охвачен горячкой нового дела, не сомневался, что и здесь добьется успеха. Мать помогала ему во всём и тоже поверила, что и на новом месте жизнь будет выстроена, вот-вот. Но 1839 год, первый помещичий год Семена Дмитриевича, выдался неурожайным: хлеба почти не собрали, продавать осенью было нечего, значит, нечем и возвращать долги. Понадеялись на следующее лето, но весной крестьяне наотрез отказались сеять яровые, по приметам поняв, что и в этом году урожая не будет. Семен Дмитриевич говорил им об удобрении почвы, о перегное; мужики пожимали плечами и хоронились один за одного, долдоня прежнее: *по всему*, барин, сеять никак нельзя. Самые бойкие даже объясняли ему: мало выпало снега зимой, сосульки висели внутри пустые. На Сретение, барин, какая мела метель! Еле откопались. А это самая первая примета, что урожая не жди. Посеешь осенью последние семена – зимой нечего будет есть, и тогда смерть.

Сама птичница Аграфена, которая – в это верила вся деревня – видела вещие сны, прорекала скорый и страшный голод. На Аграфенин роток не накинешь платок – она была из вольных однодворок, женщина честная и гордая, и никто не сомневался, что сны ее скоро сбудутся.

Что было делать с этим глухим, но неодолимым сопротивлением?

Ненависть к телесным наказаниям Семен Дмитриевич вынес еще из бурсы, крепостных своих никогда не сек. Барыня в семинариях не училась и мужниных взглядов на битье не разделяла. Позднее Николай не раз вымаливал у нее милости для отосланных на конюшню; пока же Лесчиха только осваивалась с новой ролью. В конце концов новоявленный помещик всё-таки повелел засеять пашни – и свои, и крестьянские – собственным, купленным впрок зерном, чтобы затем вместе с урожаем забрать у мужиков данное взаймы.

Но мужики и сновидица Аграфена оказались правы – весной не вошло ни колоса. Наступил страшный, голодный 1840 год, о котором Лесков рассказал много лет спустя в «Юдоли» (1892) с самыми живописными и жуткими подробностями: ели детей, девки отдавались за кусок хлеба. Во время этого голода умер еще один младший ребенок Лесковых, Миша, двух лет от роду (следующего сына назвали потом его именем); умерли несколько лесковских крепостных, умирали и многие вокруг.

После этой беды Семен Дмитриевич не мог заплатить ге-

нералу Кривцову не только долг, но даже проценты за него; Гавриловское и Кривцово были поспешно проданы, орловский дом на Дворянской улице сдан пока в аренду, но вырученные за это 60 рублей не спасали дела.

Так и получилось, что с покупки Паниного хутора и Гавриловского начался медленный финансовый крах семейства Лесковых.

Севск: бурса

Отобедав гречкой, он успел как раз вовремя: в тарантас уже рассаживались знакомые пассажиры. Судариков спорил с молочным купцом, где лучше ярмарка – в Севске или Глухове. Ямщик озабоченно заметил, что в Севск надо бы поспеть засветло, там и заночевать.

В Севске когда-то учился Семен Дмитриевич. Николай никогда там не бывал, вот и поглядит, где родитель провел лучшие годы.

Отец... Так и не поговорили толком по душам, хотя однажды просидели вместе за книжками целую зиму, отец готовил его к гимназии – и подготовил. Семен Дмитриевич никогда не давил, а всё-таки легким человеком не был. Легкость, гибкость, уклончивость, дипломатия – дурные товарищи прямоте, честности и упрямству, отличавшим его с юных лет.

Семен Лесков происходил из «колокольных дворян», то есть порвал с родной средой духовных и получил потомственное дворянство вместе с чином коллежского асессора. Был он не робкого десятка и трудолюбец. Всё в нем – живое, энергичное лицо, оспинки на щеках, поступь, манеры – свидетельствовало: этот человек хорошо испробован и многое в жизни выдержит. Так оно и было, до поры.

Отец его, священник Дмитрий Петрович Лесков, служил

в Казанской церкви села Лески (местные жители произносят название с ударением на первый слог) Карачевского уезда Орловской губернии¹², где в 1791 году Семен и родился. Происхождение названия села довольно очевидно – его окружали дремучие леса^[20]. Упоминаются Лески с начала XVII века, находятся на речке Колохве. В 1770 году там на средства владельца, помещика Евтихия Ивановича Сафонова, началось строительство храма в честь Казанской иконы Божией Матери, оконченное только десять лет спустя.

Весь XVIII век в Лесках служили несколько поколений Лесковых. Сначала в храме Флора и Лавра – прапрапрадед писателя Семен, затем его сын Тимофей, дальше прадед Петр^[21], а уже в новой Казанской церкви дед Дмитрий. Дмитрий Петрович окончил Севскую духовную семинарию, служил при отце дьячком, в 1784 году женился на поповне из села Бутре Марфе Ивановне, а после смерти отца был рукоположен и поставлен на родной приход^[22].

Память о Марфе Ивановне в семейных преданиях Лесковых стерлась напрочь, даже имя ее выяснили только в XXI веке. Неудивительно: как и все матушки-попадьи, жила она безгласно, занималась хозяйством, рожала и растила детей – кроме Семена были еще Алексей, на два года старше, и Пелагея, появившаяся на свет в 1798 году. Ей и предстояло унаследовать приход в Лесках.

Лески стоят и поныне, пережив все бедствия русского

¹² Ныне – Навлинский район Брянской области.

XX века. В 1917 году усадьба последних владельцев села Муравьевых – Сергея Владимировича и его детей – была разгромлена крестьянами^[23]. В 1920-м здесь был создан Лесковский сельский совет. Брянская газета «Наша деревня» за 1925 год описывает, как напившийся милиционер с компанией устроил в Лесках пьяный дебош^[24]. В начале XX столетия здесь было около двух тысяч жителей, по материалам Всероссийской переписи 1928 года – 1889 человек в 330 дворах, по данным 2013-го – 194 человека.

Я была в Лесках в конце марта 2019 года¹³. Часть села – покосившиеся брошенные избышки, другая – живая, с трактором, горками нарубленных дров, лошадьми, рыжими курами и бойкими петухами, то и дело перебегающими дорогу. Живет в селе в основном старшее поколение. Вырваться отсюда трудно: даже автобус до ближайших деревень перестал ходить. Из кирпичей здания сахарного завода, построенного С. В. Муравьевым в начале XX века, в 1927 году сельчане сложили двухэтажную школу, которая и проработала до 2010-го. Когда школа закрылась, детям и их родителям нечего стало здесь делать.

Рядом с опустевшей школой – останки Казанской церкви, в которой служил дед писателя: фундамент, частично стены. Самый высокий, в небо уткнувшийся обломок, – в нахлобучке аистинного гнезда.

¹³ Благодарю журналиста и поэта Евгению Коробкову за участие в организации поездки и за компанию.

Немцы захватили Лески в 1941 году. В сентябре 1943-го, отбиваясь от советских войск, они поставили пулемет на колокольню, в ответ наши били прямой наводкой, но церковь до конца не разрушили. Советские саперы вроде бы хотели ее взорвать, но она так до конца и не поддавалась. Тут-то и выяснилось, что помещик Сафонов строил крепко: толщина стен – шесть кирпичей. Выкорчевать кирпичи было почти невозможно – «лябастра закубрённая», как выразилась местная жительница. И всё же с тем, с чем не совладали снаряды, справились сельчане, постепенно растащив храм на печки и разобрав по домам иконы. Каждый год аисты прилетают и выводят на церковных руинах потомство; здешние жители их очень ждут, ими гордятся.

В 1950-е годы на волне интереса к Лескову Министерство культуры выделило деньги на создание в Лесках музея в его честь, но местные власти от щедрого предложения отказались: сам Николай Семенович в Лесках не бывал, отец его покинул село в 1810-е, а ради деда не стоило и затеваться.

Прихожане Казанской церкви конца XVIII века этому решению наверняка бы удивились: батюшку они очень уважали, ценили за честность, скромность и прямоту. Из соседнего села Шаблыкина к отцу Дмитрию приезжала чета Киреевских – Василий Александрович и Елизавета Федоровна – просить молитв о наследнике. И когда долгожданный сын родился, его мать в благодарность Богу и отцу Дмитрию за молитвы подарила храму богато украшенную Богородич-

ную икону стоимостью в две тысячи рублей, а позже делала пожертвования регулярно – очень кстати: приход в Лесках был бедным. Вымоленный мальчик, Николай Васильевич Киреевский (1797–1870), стал кавалергардом, а по выходе в отставку – страстным охотником, знаменитым на всю Россию. Об охоте на зайцев, волков, лисиц и медведей, о любимых борзых собаках, назвав каждую поименно, он написал книгу «Сорок лет постоянной охоты: Из воспоминаний старого охотника» (1855).

Николай Семенович деда-священника никогда не видел – отец Дмитрий и его супруга умерли задолго до его рождения. Внук знал о них только из рассказов их дочери, своей тетки Пелагеи, и утверждал, что протопоп Савелий Туберозов в «Соборях» списан с родного деда, добавляя, впрочем, что реальный отец Дмитрий был проще, но протопоп «напоминал его по характеру». Если действительно так, значит, дед был характеру «нетерпячего», горяч и прямодушен. Судя по тому, как он обошелся с сыном, это похоже на правду.

Дмитрий Петрович отдал Семена в ту же Севскую духовную семинарию, где сам прошел курс наук. Перед Семеном Дмитриевичем лежал нелегкий, но понятный путь: по окончании семинарии служить в родовом приходе Казанской церкви – сначала дьячком на клиросе, затем подыскать невесту, жениться, а там и принять по наследству из рук отца приход и почтение прихожан. На каникулах Семен возвращался домой, помогал матери в огороде, отцу в хра-

ме; был остер, памятлив, чист сердцем. И насчет будущего отец Дмитрий не тревожился: левитский род Лесковых *яко финике процветет, яко кедр, иже в Ливане, умножится*. Но всё получилось по-другому. По преданию, изложенному его сыном-писателем в «Автобиографической заметке», Семен, вернувшись после семинарии в родное село, не стал лукавить, тянуть, отсыпаться после казенного житья на домашних перинах, отъедаться матушкиными пирогами – брякнул сейчас же, за семейным обедом: в попы идти не намерен.

Отец Дмитрий уронил вопрос, другой; сын отвечал твердо, как о давно решенном. Батюшка побагровел, сказал кратко: «Вон!» Семена точно ветром отнесло в сени. Страшен был отцовский гнев, но коса стукнулась о камень. Котомка, не разобранный с дороги, так и лежала у самой двери свернувшимся щенком, словно предчувствуя всё и дожидаясь хозяина у порога.

Вскоре юноша, покорясь отцовской заповеди, уже спешил из родимого дома вон, с мешком и 40 копейками меди за пазухой халата, которые мать едва успела всучить ему с заднего крыльца. Марфа Ивановна знала не хуже сына: спорить, убеждать, молить мужа о милосердии – бесполезно. И дня она не поглядела на Семушку, даст ли Господь свидеться еще?

Не дал. Это была их последняя встреча. Семейные предания, утверждавшие, будто бы столь резко прерванная духовная карьера Семена и ссора до того огорчили отца, что

вскоре свели его в могилу, видимо, не соответствуют действительности: отец Дмитрий умер уже после 1815 года – через четыре-пять лет после изгнания сына. Марфа Ивановна скончалась раньше, но когда именно, неизвестно.

Семен бежал не из отцовского дома, не из Лесков – из священнического звания. Что гнало его прочь? Что придавало решимости нарушить порядок, поддерживаемый несколькими предыдущими поколениями Лесковых? Выйти из духовного сословия было не так-то просто. Николай Семенович написал потом, что причиной побега стало «неодолимое отвращение к рясе», которое Семен Дмитриевич испытывал «всегда». Положим, «всегда» – фантазия; разве мог мальчик, впитавший церковную жизнь с молоком матери, росший рядом с правдивым, любимым прихожанами отцом, с самого рождения ненавидеть отцовское дело? Очевидно, что «отвращение к рясе» зрело медленно и соткалось уже в годы учения в Севске.

Севская семинария располагалась на территории Спасо-Преображенского монастыря. Но монастырских помещений для всех ее нужд не хватало. Общежития в семинарии не было, мальчики снимали жилье в городе, ютились в тесных квартирах, по несколько человек в комнате. Хуже других было тем, кто поселился в Замарицкой части города: путь оттуда шел через заболоченный луг, перебираться через него приходилось, сняв сапоги и засучив штанины, – и так до холодов, пока лед не сковывал хляби. Кровати были не у

всех, бурсаки часто спали прямо на полу, завернувшись в тулуп или халат. Чесотку, простуду, вечный кашель и голод по равнодушию юных лет и непривычке к другой жизни можно было пережить – или не пережить: смертность была высокая. И всё же ужаснее голода и холода для вчерашних домашних мальчиков оказывалось бесчеловечие, обращенное в закон. За семинарские годы им предлагалось не только выучить латынь и богословие, но и преодолеть бездну между словами о любви к Богу, снисхождении к ближнему, которые им твердили на всех уроках, и реальностью – ежедневными порками, унижениями, пьянством преподавателей, жестокими потасовками учеников, беспощадной травлей слабых.

Семен начинал учиться вместе со старшим братом Алексеем – тот помогал ему обжиться на первых порах, защищал от старших драчунов, – а окончил семинарию один. Алексея забили до смерти в «каком-то семинарском побоище и из-за какого-то ничтожного повода»^[25] – очень вероятно, у Семена на глазах.

Семинарские дрались друг с другом, с гарнизонными солдатами, с деревенскими, у которых с голодухи и из удалства воровали овощи на огородах. В «Соборянах» дьякон Ахилла рассказывал Савелию Туберозову:

«...однажды он, еще будучи в училище, шел с своим родным братом домой и одновременно с проходившею партией солдат увидели куст калины с немногими ветками сих никуда почти не годных ягод и устремились

овладеть ими, и Ахилла с братом и солдаты человек до сорока: “и произошла, – говорит, – тут между нами великая свалка, и братца Финогешу убили”»^[26].

Братца Семена Лескова убили, кажется, однокашники, будущие священники, которым предстояло служить литургии, проповедовать милосердие и жертвенность. Во что верили, чему поклонялись эти немытые, сопливые, вечно голодные, обозленные на весь мир бурсаки? Ни во что и ничему, кроме кулака. Сила помогала выжить, да еще изворотливость и физическая выносливость. Силачам вообще жилось вольготнее, слабым, в особенности чувствительным – невыносимо. Бояться, болеть сердцем, тем более плакать считалось постыдным.

Били они, били и их. Секли на воздусех и на полу, розгами солеными и в две пары. Битье и зверства нередко сопровождались прямой подлостью – воспитанникам приказывали сечь друг друга: аудитору¹⁴ – того, кто не смог ответить на уроке, а подопечному – своего аудитора, «налгавшего» учителю.

Началось всё, едва отец Дмитрий отвез сына в бурсу. Встретив во дворе, как потом выяснилось, учителя арифметики, мальчик поклонился старшему. Учителю это понравилось. Узнав, в какой класс определен новый воспитанник, он потрепал его по плечу и произнес мечтательно: «Жаль, го-

¹⁴ Ав д и т о р (аудитор) – здесь: семинарист, назначенный учителем проверять задания у товарищей.

лубчик, не ко мне ты попал, уж как бы я тебя сек!..»

Так они и жили – молодым полудиким стадом, которое то резвилось, играя в свои первобытные игры, то, набывчась, долбило уроки и угрюмо шагало и шагало к выпуску, не чая его дожидаться. Единственным надежным лекарством от болезни, тоски, обиды, душевной боли был глоток спиртного. В старших классах к нему прибегали часто. Самый знаменитый летописец семинарских будней, автор «Очерков бурсы» Николай Помяловский, заболел известным русским недугом как раз в годы учения, чтобы потом полжизни провести в кабаках, трущобах и умереть, не дожив до тридцати лет. От той же напасти гибли десятки, сотни вчерашних обитателей духовных училищ.

По окончании первой ступени обучения и переходе из училища в семинарию, наждаком огрубив души учеников, подготовив к взрослой жизни под архиереями и навек выбив веру в справедливость от высших, порки наконец прекращали. Но лгать, хитрить, зубрить от доски до доски нужно было по-прежнему – этому в семинарии учили превосходно, а вот молиться, любить – нет. О том, что души учеников нуждаются не только в окрике и лозе, не думали даже лучшие педагоги. Семен Дмитриевич не хотел иметь со всем этим ничего общего, никогда.

Помилуй Бог, неужели в бурсацкой жизни и в самом деле вовсе не бывало хорошего и семинарию населяли одни лицемеры?

Семен Егорович Раич, соученик Семена Дмитриевича, впоследствии поэт, переводчик с древних языков и домашний учитель Федора Ивановича Тютчева, свидетельствует: бывало и доброе.

Судьбы двух Семенов отчасти схожи. Семен Раич родился на год позже тезки, в 1792-м, а по окончании семинарии также вышел из духовного звания. На бедном сельском приходе служил и дед его, и отец, но отец к моменту поступления сына в духовное училище уже умер. Изначально Семен носил фамилию Амфитеатров, но в 1820 году взял другую – родовую.

Его старший брат Федор, в монашестве Филарет, также окончил семинарию в Севске, а вскоре сделался ее ректором и опорой осиротевшей семьи. Со временем Филарет стал митрополитом Киевским и Галицким и не раз бывал героем прозы Лескова. И во «Владычном суде», и в «Печерских антиках», и в «Мелочах архиерейской жизни» этот «благодушнейший иерарх русской Церкви» описан с самым теплым чувством: «Он родился со своею добротою, как фиалка со своим запахом, и она была его природою»^[27]. Аромат его добродетелей донесся и до XXI века – в 2016 году он был канонизирован Русской православной церковью.

Севскую семинарию Филарет возглавил в 1802 году, в 25 лет. Сам недавний ее выпускник, он старался беречь учеников – его даже прозвали Милостивым, как и его святого покровителя Филарета, византийского землевладель-

да VIII века. Севск стоял на болотах, климат был гнилой, свирепствовали болезни, многие ученики умирали. Филарет начал ходатайствовать о переводе семинарии в губернский Орел. Делал он это в обход своего непосредственного начальства, епископа Орловского и Севского Досифея, понимая, что тот его не поддержит, – и оказался прав: Досифей, узнав о планах ректора, так разгневался, что велел схватить его, запереть в башню монастыря и пригрозил наказать батогами. Доброжелатели спасли Филарета от расправы и заключения, но не от перевода в захолустную Уфу, в бедную неустроенную семинарию. Досифей очень старался, но и он оказался не всемогущ; в конце концов и от уфимского плена Филарет был избавлен. Однако семинарию из Севска в Орел перевели только 20 с лишним лет спустя, в 1827 году.

Тем не менее Семен Раич о годах учения вспоминает с благодарностью, не забыв отметить, что семинаристов берегли от простуд: «Конечно, наши семинарии имели – может быть, и теперь имеют – свою черную сторону, но есть у них и белая сторона. Не знаю, как в мое время развивалось умственное и нравственное образование в других епархиях, но в Орловской оно, несмотря на крайнюю ограниченность средств, было, можно сказать, в цветущем состоянии; этому способствовали по преимуществу две замечательные особы: епископ Досифей и ректор семинарии Филарет, теперешний киевский митрополит... Обе эти особы умели пробудить в нас любовь к наукам не строгими, жестокими ме-

рами, но кротостию, снисхождением; они вели нас в храм просвещения не по тернам, а по цветам; в доказательство приведу два-три примера. При наступлении весны, во время ростепели, мы, из опасений простуды, недели по две освобождаемы были от классов и занимались по квартирам экстраординарно; весь май слушали мы учителей без обязанности ежедневно сказывать им уроки – короче, мы беззаботно праздновали у весны на новоселье. Весною и летом классы наши устраивались под открытым небом, в рощах (у нас их было две: одна березовая, другая дубовая), – и это нисколько не мешало учению, не останавливало его, напротив, подвигало вперед, давая простор мыслям и в то же время развивая и укрепляя физические силы; “mens sana in corpore sano”¹⁵ – вот правило, которого благоразумное начальство наше никогда не теряло из виду. Задавали нам темы для сочинений в классе пиитики или риторики – и мы, бывало, разбредемся по рощам, по полям, вдохновимся и, увенчанные васильками, колосьями или молодыми древесными ветвями, возвращаемся с готовыми сочинениями и читаем их по тетрадам или импровизациею...»^[28]

С таким же восторгом Раич описывает своих учителей, в особенности преподавателей пиитики и риторики. Среди них были и в самом деле люди замечательные – например, Яков Сильвестров, переведший с немецкого трехтомное фи-

¹⁵ В здоровом теле здоровый дух (*лат.*). Раич переводит этот афоризм как «Здоровая душа в здоровом теле».

лософское сочинение Иоганна Фридриха Даленбурга «Бог в натуре, или Философия и религия природы», и Иван Михайлович Фовицкий, знаток российской и польской словесности, впоследствии ставший в Варшаве наставником Павла Константиновича Александрова, побочного сына великого князя Константина Павловича. В семинарии выписывали журнал «Вестник Европы», и значит, воспитанники читали не только Овидия, Горация, Вергилия, но и современных отечественных авторов.

Семен Егорович вспоминает, что наказывали бурсаков относительно мягко – лишением высшего места в классе или блюда за столом. В серьезных проступках воспитанники должны были признаваться публично, после вечерней молитвы – так начальство боролось с наущничеством. Для натуры свободолюбивой и этот обряд вряд ли был приятен. И всё же допустить, что в Севской семинарии во времена Филарета нравы были мягче, чем в иных духовных школах, можно – конечно, с поправкой на то, что Раич был родным братом ректора, и на его идеалистический склад ума, который позднее друзья-литераторы называли «олицетворенной буколицой»^[29].

Но в чем-то он точно был прав. Например, в Севской семинарии, по-видимому, действительно хорошо учили древним языкам и российской словесности. Недаром Семен Дмитриевич, потерпев фиаско в сельскохозяйственных преобразованиях, утешался переводами древних авторов,

в особенности Горация. Любовь эта, а вовсе не отвращение и ненависть, которую испытывали к латыни многие бывшие семинаристы, была привита ему, конечно, в Севске и в трудную минуту скрашивала тяготы деревенской жизни.

И всё же ни Семен Раич, ни Семен Лесков не пожелали остаться в духовном звании. Раич всегда хотел сделаться поэтом и начал писать стихи уже в семинарии, но вынужден был их сжигать. После семинарии он мечтал вовсе не об отпеваниях и крещениях на приходе, а об учебе в Московском университете, занятиях изящной словесностью, сочинительством и переводами. Все сбылось, но совсем не сразу: до поступления в университет он намыкался – служил и подканцеляристом, и домашним учителем. Выйти из духовного сословия было трудно. «Боже мой, сколько надобно было твердой надежды на Промысел Небесный для того, чтобы решиться на этот переход», – писал Раич. В его случае помогли частые лихорадки (последствие севского климата) – он сумел уволиться из церковного звания по болезни. Трагедии, подобной той, что разыгралась в доме Лесковых, не случилось – некому было укорять его, кроме Филарета, но владыка был сострадателен, хотя за глаза выбор младшего брата не одобрял.

«Весьма не нравится мне и самое-то житьишко Семёна колотырное (то есть бедное и суетное. – М. К.)... да и ремесло-то его и занятие какое-то журнальное. Пиитическое, а главное, всё фантастическое... существенного ничего

нет»^[30], – сокрушался он 2 июня 1832 года в одном из писем родным. И это в ту пору, когда Семен Раич был уже известным литератором и переводчиком, переложившим на русский «Георгики» Вергилия, знаменитые рыцарские поэмы «Освобожденный Иерусалим» Торквато Тассо и «Неистовый Роланд» Лудовико Ариосто, – «существенное» в его занятиях обнаружить было несложно. Но там, где Филарет ворчал, Дмитрий Петрович Лесков неистовствовал.

Однако и выход Семена Лескова из духовного звания бил по его родным сильнее: он отказывался от главного семейного достояния. Собственный приход, ради получения которого многие плели хитрейшие интриги, лишь бы жениться на поповне, Семену доставался даром, на травяном блюдецке их скромного села. Он же развернулся и пошел в другую сторону.

Впрочем, за ворота отчего дома Семен Лесков выходил не с одной котомкой за плечами и материнскими копейками, но и с багажом обширных знаний – не только по греческому, латыни, немецкому и богословию, но и по медицине, географии, основам землемерия, к тому же с закалившейся за время бурсацкого житья волей, воловым терпением, звериной выносливостью. Это давало ощущение всемогущества. Он всё мог! Он не побоялся самого страшного – отцовского проклятия.

Не учел Семен Дмитриевич одного: отпечаток, который оставила на нем бурса, всегда будет сквозить в его повадках, манере говорить, слушать, мыслить и действовать. Как бы

далеко ни отгребся он от своего сословия в житейском и карьерном плане, он навсегда остался «поповичем»¹⁶.

В семинарии Семен Дмитриевич не утратил веры не только в себя, но и в Божий промысел, он по-прежнему был христианином, хотя и не совсем православным. Свой склад вероисповедания – почитание Христа, но не церковный обряд – Лесков-старший передал и сыну. Вот как пишет об этом сам Николай Семенович:

«Религиозность во мне была с детства, и притом довольно счастливая, то есть такая, какая рано начала во мне мирить веру с рассудком. Я думаю, что и тут многим обязан отцу. Матушка была тоже религиозна, но чисто церковным образом – она читала дома акафисты и каждое первое число служила молебны и наблюдала, какие это имеет последствия в обстоятельствах жизни. Отец ей не мешал верить, как она хочет, но сам ездил в церковь редко и не исполнял никаких обрядов, кроме исповеди и святого причастия, о котором я, однако, знал, что он думал. Кажется, что он “творил сие в его (Христа) воспоминание”. Ко всем прочим обрядам он относился с нетерпеливостью и, умирая, завещал “не служить по нему панихид”. Вообще он не верил в адвокатуру ни живых, ни умерших и при желании матери ездить на поклонение чудотворным иконам

¹⁶ «Природные» дворяне всегда несколько безгласно относились к выходцам из духовенства (см.: *Манчестер Л.* Поповичи в миру: духовенство, интеллигенция и становление современного самосознания в России. М., 2015. С. 47–50).

и мощам относился ко всему этому пренебрежительно. Чудес не любил и разговоры о них считал пустыми и вредными, но подолгу маливался ночью перед греческого письма иконою Спаса Нерукотворенного и, гуляя, любил петь: “Помощник и покровитель” и “Волною морскою”. Он несомненно был верующий и христианин, но если бы его взять поэкзаменовать по катехизису Филарета, то едва ли можно было его признать православным, и он, я думаю, этого бы не испугался и не стал бы оспаривать»^[31].

Николай долго оставался внешне воцерковленным, чтил и обряд, и Церковь; но из приведенного фрагмента становится ясно, откуда тянется его позднее увлечение протестантизмом и толстовством.

Из родительского дома Семен Лесков направился не в уездный Брянск, а в губернский помещичий и купеческий Орел. Учитель из семинаристов – обычное дело: кого было брать к детям, как не их? Добросовестный, безупречно честный Семен Дмитриевич немедленно вошел в моду, дворяне вставляли на него в очередь. В конце концов его переманил к себе Михаил Андреевич Страхов. Вместе со страховскими детьми Семен Дмитриевич начал учить и дочь управляющего, Петра Сергеевича Алферьева. Маша ему приглянулась, хотя, как потом говорили в семье Лесковых, четырнадцатилетняя ученица первая полюбила учителя. Характер у Марии Петровны был сильный, и вполне вероятно, что именно она подсказала Семену Дмитриевичу, кого ему выбрать

в жены.

Но вчерашний бурсак без гроша за душой понимал, что пытаться получить в жены дочку управляющего, к тому же дворянку – дело безнадежное. Семен Дмитриевич отправился на Кавказ, служил там при винных операциях, скопил небольшое состояние (около семи тысяч рублей), выслужил чин коллежского асессора; пусть это было и «кавказское асессорство»¹⁷, однако право на потомственное дворянство давало и оно.

В этом, уже «невздорном» (VIII класса) чине Семен Дмитриевич вернулся в Орел и предложил Марии Петровне руку и сердце. Родителям, как и следовало ожидать, жених не показался: чужак, бурсак, без обхождения, излишне прям; образован, но к чему в науке совместной жизни философия и древние языки? Семен Дмитриевич так и не стал для Алферовых своим, и всё же они рады были сбыть с рук младшую дочь, почти бесприданницу, за которой, впрочем, пообещали пять тысяч рублей, хотя отдали их очень нескоро.

Дальнейшее известно.

Чиновничью карьеру Семен Дмитриевич самовольно оборвал, как до этого поповскую, а после неудач в ведении панинского хозяйства остыл и к помещичьим затеям. Преодо-

¹⁷ Во время Кавказской войны (1817–1864) для привлечения чиновников на службу в учреждения Кавказского наместничества производство в коллежские асессоры проходило в обход установленного порядка – без экзамена и минуя несколько ступеней карьерной лестницы; получивших чин таким образом в шутку называли «кавказскими асессорами».

левать трудности, шагать напролом было ему почти в радость, играть по сложным житейским правилам он умел, а вот бороться с ползучей деревенской невзгодой, эпидемиями, неурожаями, с топкой мужичьей философией, в которой вязнешь хуже, чем в болоте, – словом, с тем, что не победить ни сильной волей, ни природной сметкой, можно только принять как стихию, как волю небесную, – оказался не в силах.

Вместо масштабных задач и неизбежных трудностей, сопряженных с чиновничьей службой, в Панине было только «маленькое однодворческое хозяйство, в котором не к чему было приложить рук»^[32]. «Сам приказчик, сам боярин, сам холоп и сам крестьянин, – сам и косит, и орет, и с крестьян оброк дерет», – гласил куплет одной забытой пьесы^[33]. Тра-тить себя на хозяйственную маету, следить, когда поспеют греча и овес, зазывать помольцев на свою мельницу, убеждая в доброкачественности жерновов и честности мельника, искать покупателей на пеньку, уток, индюшек... Для столь ничтожных целей стоило ли беспокоиться, двигаться, жить? Безжалостный сын написал потом: «Неурожаи, дрязги мужичьи, грозы, падежи и прочие прелести, о которых мы забываем, предаваясь буколистическим мечтаниям, так его выгладили, что из него в пять лет вышла дрязга»^[34], – и никогда, похоже, не простил отцу слабости, слома.

Мать не переломили ни долги, ни голод, ни малодушие мужа. «Марья Петровна была женщина большой воли, трез-

вого ума, крепких жизненных навыков, чуждая сентиментальностей и филантропии, властного нрава... Несмотря на большую разницу лет между супругами, домом и всем хозяйством правила она. Резко отличалась от своего, в панинские годы, чудившего мужа, была всесторонне деловита и практична, радея о насущном и не возносясь выспрь»^[35], – писал о ней внук Андрей в знаменитой биографии отца.

Сельского быта не понимала и Мария Петровна, но у нее было свое большое дело: накормить, обшить, вылечить. У Лесковых, имевших троих детей – Николая, Наталью (1836–1920) и Алексея (1837–1903), – в Панине родились еще четверо: Михаил (1841–1889), Василий (1844–1872), Ольга, в замужестве Крохина (1846–1893), и Мария (1847 или 1848–1860), умершая от кори подростком. Смастерить из собственного старого платья бешметы сыновьям, закрыть дыру на башмаке сахарной бумагой, отдать местному умельцу прохудившиеся сапоги, чтобы залатал их козырьком отцовской фуражки, – забот у Марии Петровны хватало.

Муж от домашних дел держался в стороне. С окрестными дворянами он не водился, жил анахоретом, хандрил над книгами. Для уездной аристократии Семен Дмитриевич был чужак и чужак. В конце 1830-х – начале 1840-х годов русское барство еще не истощилось. Помещики содержали охоту, дворню, шутов, приживальщиков, устраивали балы и спектакли, играли в карты, пировали – благо крепостные поставляли к столу всё необходимое. Они жили в свое удо-

вольствие, мало беспокоясь о том, что их имение заложено или даже перезаложено в Опекунском совете. Как было принять этот вечный пир разночинцу, человеку труда, никогда не знавшему праздности? Ни охотиться, ни танцевать он не умел.

И всё же изредка Лесковы выезжали – например в соседнее Зиновьево, где жило большое и самое образованное в округе семейство Ивановых. В зрелые годы Лесков утверждал, что пристрастился к чтению благодаря двум здешним младшим барышням (всего их было четыре), начитанным и даровитым: «Им я обязан первым знакомством с литературой, которая потом для несчастья моей жизни скоро обратилась в неодолимую страсть»^[36]. Страсть эта поддерживалась большой домашней библиотекой, из которой Николаю давали книги. Особенным авторитетом, и не только у домашних, пользовалась бабушка, Настасья Сергеевна Иванова, племянница писателя Константина Петровича Масальского. Настасья Сергеевна стала одним из прототипов мудрой и прямой княгини Протозановой в «Захудалом роде» и «боярыни» Плодомасовой в «Соборянах». Семен Дмитриевич в этих выездах, похоже, не участвовал, тосковал дома один.

Однажды летним вечером он пошел прогуляться, развеять грусть. Домой принес завернутые в платок грибы, собранные на прогулке, попросил Марию Петровну зажарить их в сметане на ужин и с аппетитом поел^[37], а через сутки

внезапно умер – считалось, что от холеры^[38]. Похоронили Семена Дмитриевича в простом деревянном гробу, сколоченном мужиками, на Добрынинском погосте в Панине.

Старшего сына в это время в Панине не было – он уже сделался служилым человеком, трудился канцеляристом в Орловской уголовной палате и обстоятельства смерти отца узнал от родных^[39].

Прощальное письмо с заповедями тогда еще единственному сыну Семен Дмитриевич написал задолго до кончины, в 1836 году, видимо, заболев и собираясь в последнее свое путешествие:

«...Итак, выслушай меня и, что скажу, исполни: 1-е. Ни для чего в свете не изменяй вере отцов твоих. 2-е. Уважай от всей души твою мать до ее гроба. 3-е. Люби вообще всех твоих ближних, никем не пренебрегай, не издевайся. 4-е. Ни к чему исключительно не будь пристрастен; ибо всякое пристрастие доводит до ослепления, в особенности ж к вину и к картам; нет в мире зол заманчивей и пагубнее их. Я просил бы, чтоб ты вовсе их не касался. 5-е. Вообще советую тебе избирать знакомых и друзей, равных тебе по званию и состоянию, с хорошим только воспитанием. 6-е. По службе будь ревностен, но не до безрассудства, всегда сохраняя здоровье, чтобы к старости не быть калекою. 7-е. Более всего будь честным человеком, не превозносись в благоприятных и не упадай в противных обстоятельствах. 8-е. Между 25 и 35 годами твоего возраста советую тебе искать для се-

бя подруги, в выборе которой наблюдай осторожность, ибо от нее зависит всё твое благополучие. Ни ранее, ни позднее сих лет я не желал бы тебе вступать в супружеские связи. 9-е. Уважай деньги как средство, в нынешнем особенно веке, открывающее пути к счастью; но для приобретения их не употребляй мер унижительных, бесславных. 10-е. Будь признателен ко всем твоим благотворителям. Черта сия сколько похвальна, столько ж и полезна. 11-е. Уважай девушек, дабы и сестра твоя не подверглась иногда какому ни есть нареканию. 12-е. Кстати о сестре, она тебя моложе пятью годами. Когда будешь в возрасте, замени ей отца, будь ей руководителем и заступником. Нет жалчее существа, как в сиротстве девица, заметь это и поддержи последнюю мою о ней к тебе просьбу, ты утетишь тем меня даже за могилою. 13-е. Преимущественно хотелось бы мне, чтоб ты шел путем гражданской службы, военная по тягости своей и по слабости твоего сложения скорее может тебя погубить»^[40].

Адресату было тогда пять лет; после этого Семен Дмитриевич прожил еще 12 лет и порадовался рождению нескольких сыновей. Николай Семенович прочитал это завещание уже после смерти отца и сохранил его в своих бумагах. Едва ли не все отцовские заповеди он впоследствии нарушил, хотя путем гражданской службы идти всё-таки попытался – поступил служить в Орловскую уголовную палату.

Второй сохранившийся документ, написанный Семеном Дмитриевичем, – ходатайство на имя председателя уголов-

ной палаты Дмитрия Николаевича Клушина, в котором отец просит о «внимании» к его старшему сыну – «с характером сильным» и способностями «достаточными». Письмо так и осталось в бумагах Николая Семеновича, возможно, как раз и проявившего характер и не пожелавшего, чтобы отец о нем просил.

Глухов – Киев

Глухов встретил тарантас колокольным звоном – отходила обедня. Вдоль дороги теснились заросли развесистой вербы, когда колокола начинали петь высоко, казалось, перекликаются серебристые шарики на острых темно-вишневых ветках.

На въезде в город тарантас качнулся, закатился в яму неведомой глубины, стукнул передними колесами и накренился. Пассажиры охнули, возница стегнул лошадок раз и другой; те поднатужились, коренной дернулся, захрипел, пристяжные потянулись. Вывезли. Но до того твердая поступь тарантаса стала робка и нерешительна, будто он совершил какую-нибудь глупость. Еле доползли до станции. Кучер, молодой румяный парень, соскочил с козел, пощупал, пошатал спицы и сообщил, что от удара о невидимое препятствие, находившееся в той самой яме, в переднем колесе лопнула шина, а в заднем вывалились три спицы.

Раньше обеда выезд не предвиделся.

Николай пошел бродить по городу, искать знаменитую Малороссийскую коллегия и дворец гетмана Скоропадского, о котором столько читал и слышал, но ничего не нашел – ни коллегии, ни дворца. Глухов из резиденции малороссийского гетмана сделался самым обыкновенным уездным городом – с выскакивающими из дворов пыльными курами, лу-

жами в улицу шириной, унылыми торговыми рядами, широкой площадью и зевающими во весь рот приказчиками за прилавками.

Все разочарования искупил трактир рядом со станцией – опрятный, с приличной мебелью, чисто одетым половым, мешавшим русский с малороссийским.

Малороссия уже поглядывала отовсюду: умывальный кувшин был покрашен в густой васильковый цвет, по рушнику вился розовый узор, борщ подали с салом и пампушками. К борщу прилагались морс и сливянка – да с таким ароматом, будто прошла самая деликатная панночка с раздушенным платочком в белой руке. Сливянка и сытный обед подняли дух утомленного долгой дорогой путешественника. Отяжелев, но повеселев, он отправился на станцию, где узнал, что их румяный возница проявил недюжинную расторопность, тарантас в полной исправности и готов отправиться в путь.

Все снова расселись; Судариков примолк, от самого Севска ему неможилось – в севском трактире встретил старого приятеля, и они славно кутнули. Теперь Судариков сидел прозрачный, бледный, не ел и не пил. «Порастрясло добра молодца», – не без удовольствия повторял купец, сверкая крыжовенными глазами, а приказчик моргал строго, глядел с укором.

Тронувшись, повозка уже за околицей въехала под широкую сливовую тучу, которая немного проползла над ни-

ми и начала побрызгивать дождиком. Стало сыро, сумрачно и как-то серо. Мелкий дождь так и сыпал на распаханые поля, деревни – и, несмотря на пробившуюся везде свежую зелень, дорожная скука навалила на сердце. Попутчики задремали, а ему не спалось.

Как-то встретит его дядюшка? Ученый, доктор, профессор, а он-то, он... Недоучка – так звала его в сердцах мать. И про университет Киевский он всем этим дорожным соседям соврал. Поступить он туда никак не мог: Орловскую гимназию бросил, не окончив третий класс, дальше учиться не пожелал. Потом он всё придумает, объяснит, уже стариком напишет, что свершилось это по великой тяжкой необходимости:

«Обучался в Орловской гимназии. Осиротел на шестнадцатом году и остался совершенно беспомощным. Ничтожное имущество, какое осталось от отца, погибло в огне. Это было время знаменитых орловских пожаров. Это же положило предел и правильному продолжению ученыости. Затем – самоучка»^[41].

Но сиротство было тут ни при чем: он покинул гимназию 31 августа 1846 года, за два года до смерти отца. Да и горел Орел в другое время. «Мать корила сына и леностью, и безучастием к интересам семьи, как и к своим собственным, – писал Андрей Николаевич Лесков. – Через сорок лет, за полгода до своей смерти, на мой вопрос, в чем тут было дело,

она, без тени прощения или забвения давней обиды, жестко отрезала: “Не хотел учиться!”»^[42].

Так же как когда-то отец, сообщил он своим родителям, что желает изменить свою жизнь и в гимназии учиться дальше не станет. Семен Дмитриевич, уже бессильный, кротко листавший любимых римлян, от охватившей душу апатии, а возможно, вспоминая о собственном молодом бунте против рясы, почти не возражал. Мать бушевала и всё не могла понять.

Почему отказывается учиться? Ленился? Недостает усердия или любви к наукам? Но она знала: когда хотел – был он и усерден, и терпелив, и дотошен. Первые два года Николай действительно показывал неплохие успехи, но в третьем классе был оставлен, отсидел за партой еще год – и снова не был переведен в четвертый. Учиться в том же классе в третий раз было невозможно, позорно. Но и уйти из гимназии в письмоводители – понижение статуса. Гимназист в «хороших домах» был своим, подканцелярист – чужим. Ему предстояло немало унижений, объяснений – мучительных, до конца жизни.

Юный Лесков об этом не думал. Он этого пока не знал. Не «не хотел» – не мог больше выносить эту мертвую скуку, зубрежку и ложь. Он их ненавидел, почти всех. Только математик Бернатович ему нравился да отец Ефим, давний приятель отца, остальные – инспектор Азбукин, с удовольствием отправлявший гимназистов на порку, злобный пьяница

Функендорф, засыпавший его «единицами» по немецкому, директор Кронеберг, проклинаемый всеми, отвешивавший ученикам пощечины, а в ответ получивший от них письмо, что его дом скоро подожгут, – нет!

Довольно.

Едва Николаю исполнилось 16 лет, он был причислен ко второму разряду канцелярских служителей Орловской палаты уголовного суда, с жалованьем 36 рублей серебром в год. Обыкновенные, крепко сшитые сапоги стоили девять рублей. Будь Лесков дворянином, его зачислили бы писцом не второго, а первого разряда с окладом в два раза большим, 72 рубля. Но Семен Дмитриевич за 15 лет после получения ассессорского чина, дававшего право на потомственное дворянство, так и не собрался подать прошение о его получении. Только теперь, поддавшись уговорам семейства, он отослал наконец необходимые бумаги. Год спустя, в 1848-м, надворный советник Семен Дмитриевич Лесков был, наконец, официально утвержден в дворянском достоинстве; сам до этого он уже не дожил, зато Николая сейчас же причислили к канцелярским служителям первого разряда. Сильно ли порадовало его повышение?

Как только началась служба, нудная, пыльная, в комнате с годами не мытыми окнами, стертыми лицами – во сто крат унылей гимназической тягомотины, к сердцу подступила обида... на себя, на отца. Нужно, совершенно необходимо было окончить гимназический курс, перетерпеть; отец обя-

зан был настоять, крикнуть, пригрозить, а не строчить униженные рекомендательные письма. А теперь что? Уголовные дела.

*О подкинутом младенце;
о краже золотого кольца;
о нанесении рядовому Мамонтову удара;
о намеревавшейся лишить себя жизни дворовой девке Филиппьевой;
о похищении денег из орловской Успенской церкви;
о краже дворовым человеком князя Голицына Матвеем Исаевым из церкви села Богодухова 147 р. 90 коп. серебром;
о подкинутом к дому брагинского мещанина Ефима Долгинцева неизвестного мужского пола младенце.*

Он захлебывался в этих мелких, крупных и средних кражах, хищениях, потасовках. Любопытно было только первые две недели, после этого обнаружилось: самого интересного – убийств – не случалось, драки редки, курьезы одни и те же: кражи да хищения, хищения да кражи, буква к букве, бумага к бумаге. И так целую жизнь?

Нет, дорога в университет не была перед ним закрыта – требовалось только дожидаться исхода пяти лет, отсчитав от 1843 года, когда он поступил в третий класс. Закон давал ему время пройти курс наук самостоятельно, если не желает учиться со всеми. Затем, после 1848 года, он мог ехать хоть в Петербург, хоть в Москву, хоть в Киев, держать вступительные экзамены и стать студентом. Только, чтобы сдать

экзамены, требовалась подготовка; нужно было заново зубрить латынь, немецкий, французский, историю, алгебру – когда? Он ежедневно ходил в присутствие. И на какие деньги? Пусть репетиторы стоили гроши, он со своим жалованьем был почти нищим. Поэтому пока так.

Об избиении в питейном доме села Хотетова помещиком того же села П. Р. Анненковым и малороссиянином А. Лысенковым мещанина Ф. Клевцова;

о сгоревшем рождественском доме;

о неправильно испрашиваемом от доброхотных дателей подаянии на построение церкви в селе Уткино крестьянами помещика Снечинского Александром Архиповым и Сергеем Волковым;

о подозрении в краже орловским мещанским сыном Максимом Петровым Пиенкиным.

Однообразна, убога жизнь присутствия. Так и тянуло вывести вместо всей этой тоски: *Орел да Кромы – первые воры; город Карачев – на поддачу; город Ливны – всем ворах дивны; город Елец – всем ворах отец.*

Быть себе господином – вот чего он желал, но лишь теперь увидел: он им и был. В гимназии он жил на воле, мать с отцом трудились в Панине, он жил не тужил, снимал угол у повивальной бабки Антонида Порфирьевны, вкусно ел, сладко пил.

Жительницы Орла по причинам самого естественного порядка никогда не оставляли Антониду Порфирьевну внима-

нием: приносили чаю, сахару, кофе, варенья на именины, на большие и малые праздники, в «причащеньев день», а после каждого принятого ею новорожденного оставляли еще «на кашицу» – вареного, печеного, жареного. Сама Антониды Порфирьевны употребить эти раблезианские горы, понятно, не могла, так что постоялец ее, как и сын Никишенька, и служанка, давно заплывшая жиром, не голодали. Можно было и позубрить, и почитать учебники, можно было дотерпеть^[43].

А теперь... но не возвращаться же в класс! Вот смеху будет, ляжет позорное пятно на целую жизнь. Нет уж, служи, яко гоголевский Акакий Акакиевич, скрипи усердно перышком, дыши пылью и не чихай.

*О краже муки у купца Меркула Федорова;
о намерении крестьянина Косачева украсть лошадь;
о случившемся в доме мещанина Голикова пожаре;
об оказавшемся мертвом теле Ивана Шевмакова;
о краже у портного Данилова имущества.*

Всей радости – стремительно, небрежно подписаться «Письмоводитель Н. Лесков» да посмеяться на заднем дворе с такими же канцеляристами над очередным казусом или посудачить о загадочном случае. Не оттуда ли, не с тех ли пор и появилась у него любовь к краткой законченной истории, анекдоту?

И вот что еще он успел понять, пока служил: человек, даже хорошо ему знакомый, угодив в «дело», менялся – вне-

запно наливался новым значением, точно попадал в книжку про самого себя. Занесенная на бумагу реальность преобразалась. Вроде и тот же Уточкин, какого знал он по торговым рядам, – жилистый, с красным яйцом лысины, вылезшим из-под картуза, с пегой бородашкой и быстрым, хитрым зырком таких же пегих глаз, а как начнешь записывать «о покраже у Орловского купца Уточкина из лавки сахара, чаю и денег», уже другой – серьезный, осанистый. Матвей Сергеевич.

Вынесен был из казенной службы и другой урок. В дни выплаты жалованья сослуживцы звали его «закидывать щенков». Пили молодые люди сильно: «...целой компанией до бесчувствия; просыпаясь, находили себя в комнате на кровати, на диване, на голом полу, без подушек, без одеяла, – одетыми, полуодетыми и совершенно раздетыми, с головой на чужих ногах. Страшное было время!...»^[44]

Проезжали село, большое, небогатое: соломенные крыши, зеленые сады, сбрызнутые розовым, – яблони, вишни; потянуло цветочным ароматом. Над садами поплыла песня – сразу в несколько голосов, на малороссийском наречии, под тихое бречание гитары. Николай вздрогнул. Эту песню он знал.

Скажи мени правду, мий добрый козаче,
Що дияты сердцу, як сердце болить?

Стройно выпевали парни и девушки, и спокойный ритм

и сила наполняли эту как будто грустную песню весельем, счастьем или, по крайней мере, обещанием его.

Як серце застогне и гирко заплаче,
Як дуже без щастя воно защемиць...

Пан Опанас ее спивал. Николай разулыбался.

Пан Опанас – Афанасий Васильевич Маркович (1822–1867) – вот кто светил ему на темную дорогу. В разные гости хаживал Николай в Орле: благодаря отцу, чье происхождение в городе не забыли, посещал духовных; благодаря тетке Наталье Петровне и второму ее замужеству был вхож и в высший орловский свет. Видел в ее доме даже грозного губернатора Петра Ивановича Трубецкого. Бывал и у давних товарищей, еще с гимназической поры; часто заглядывал к Якушкиным – Виктор, а недолгое время и Семен были его однокашниками; про старшего, Павла, будущего фольклориста, в гимназии ходили шутливые легенды. У Якушкиных Лесков и познакомился с паном Опанасом.

Тот жил в Орле «на высылке». Выпускника Киевского университета Марковича сослали сюда по «костомаровскому делу». Николай Иванович Костомаров, университетский профессор, историк, создал с единомышленниками очередное общество – Кирилло-Мефодиевское братство. В него вошла разночинная киевская интеллигенция, в том числе известные литераторы Пантелеймон Кулиш, Тарас Шевченко,

Николай Савич. «Братчики» желали создать на месте Российской империи соединяющую все славянские народы федерацию с Украиной во главе и отменить на ее территории крепостное право. Перейти от обсуждений к делу они не успели. По доносу одного бдительного студента общество было разгромлено, а «братчики» отправлены в ссылку кто куда: зачинщик Костомаров после года заключения в Петропавловке – в Саратов, Кулиш – в Тулу, Шевченко – рекрутом в Оренбургский край, Опанас Маркович – в Орел. Здесь его как человека, за которым нужно приглядывать, назначили служить в канцелярию губернатора^[45].

С длинными казацкими усами, круглолицый, плотный, вольнодумец по судьбе и образу мыслей, Афанасий Васильевич пленил юношу смелостью суждений, «еретическими» соображениями, наверняка обсуждал с ним романы и критику в свежих журнальных книжках и, конечно, плавил сердце украинскими песнями. Едва закручинится Николай, едва подумает горько, сколько ж ему еще чахнуть над бумагами писарем, пан Опанас поглядит лукаво и заведет густым басом: *Дивлюсь я на небо та и думку гадаю, / Чому я не сокил, чому нелитаю...* И сразу веселей на душе.

Песен в памяти Афанасия Васильевича хранилось несметное количество; он их собирал, изучал и незаметно вслед за тезкой Лескова, воспевшим Диканьку, влюблял его в Малороссию. Пан Опанас и сам с удовольствием пел – и под гитару, и так, и один, и с другими. Громче всех подпевал

ему Павел Иванович Якушкин, тоже собиратель песен, только русских.

Чудаковатый, вечно нестриженный и нечесаный, сын дворянина и крепостной, Якушкин носил мужицкое платье – плисовые шаровары, рубаху – и очки. Еще в гимназическую пору язвительный Функендорф прозвал его «мужицким чувелком»: с юных лет Павлуша не желал стричься, ходил патлатым. С него был отчасти списан Овцебык, герой одноименного рассказа Лескова. Якушкин появился и в «Смехе и горе», и в «Загадочном человеке», и, конечно, в посвященных ему «Товарищеских воспоминаниях», сочиненных для сборника его памяти. В них Лесков сообщил об орловском «чувелке», пьянчужке и антике всё самое смешное и забавное, смолчав о главном – о том, что Павел Иванович был одним из первых профессиональных собирателей фольклора, подвижником, положившим жизнь на записывание народной поэзии. Возможно, Лескову не хотелось повторять общеизвестное, о чем и так «все напишут»; не исключено, что он ревновал. Приятнее было изобразить земляка и старшего товарища героем анекдотов и «божьем человечком», каковым Якушкин тоже, несомненно, являлся, а гонимым литератором со сложной судьбой в том же очерке представить самого себя.

Но тех, кто ценил Якушкина именно за знание народных песен, было немало. Специально, чтобы пообщаться с ним, в Орел приезжал другой собиратель песен Петр Васильевич

Киреевский, благо ехать было близко – Слободка, имение Киреевских, располагалось в семи верстах от города. Якушкин работал вдохновенно и без усталости, терпел холод, нужду, болезни, проходил десятки верст от деревни к деревне, но на регулярные усилия был не слишком способен. Записанные им песни аккуратный Киреевский приводил в порядок и кое-что публиковал – разумеется, с согласия самого собирателя.

Всё это шумное собрание знатоков народной песни, не последних людей не только в губернском Орле – во всей русской литературе, вскоре украсилось юной Марией Александровной Вилинской.

Четырнадцатилетняя Мария приехала под опеку к богатой тетке Екатерине Петровне Мардовиной, в доме которой собиралось лучшее орловское общество. Маркович тоже был здесь принят, обласкан и незаметно очарован Марией Александровной. Темно-русые косы, прямой глубокий, несколько тяжелый, но притягательный взгляд, жадность к новому – она впитывала всё, что он говорил, и чутко откликалась: вопросы ее были остры, суждения неожиданны и обнаруживали в неулыбчивой девушке ум, страсть, энергию, твердую волю – одаренность. Афанасий Васильевич оказался в ряду многочисленных поклонников Марии, а через несколько лет попросил ее руки.

Обвенчались они в домашней церкви Киреевского. Маркович был влюблен, околдован, Мария Александровна годы спустя скажет, что вышла замуж в шестнадцать лет без люб-

ви, стремясь к независимости. Муж не только подарил ей, бесприданнице, независимость – он открыл ей, что народный украинский быт может стать источником творчества. Образование Мария получила в елецком пансионе – с обучением танцам, французскому, игре на фортепьяно. Хотя, по преданию, деды ее были с Киевщины и украинскую речь она впервые услышала в детстве, именно после знакомства с Афанасием Васильевичем она начала собирать украинские пословицы, песни, слова для словаря живого украинского языка и разглядела, сколько солнца и озорства в малороссийской теме. Первые рассказы Марии Александровны из малороссийского народного быта и на малороссийском наречии «Народш оповщання» (1857, 1862) были опубликованы под псевдонимом Марко Вовчок, крепким и круглым, как репа – с кивком то ли на фамилию вдохновителя, то ли на казака Марка, мифического родоначальника Вилинских. Но это произошло годы спустя. Пока же Мария Александровна была почти девочкой, начитанной, умной, привлекательной, а Афанасий Васильевич – молодым человеком с ореолом изгнанника. У Марии была чудная память, она запоминала и мелодию, и слова со слуха – и вскоре уже подпевала Марковичу.

Пели они всегда об иной, лучшей жизни – не в душном Орле, а на червонной Украине, под тенью черешен, в зелени тополей, на вольном берегу Днепра, где дышится легче, живет веселей.

Мог ли Лесков поверить, что однажды Сергей Петрович Алферьев, строгий, капризный, многого добившийся киевский дядюшка, пригласит его к себе (видимо, мать умолила брата), позовет в Киев отведать иного житья – его, неудачника, бунтаря, жалкого письмоводителя в присутствии?

Через полтора года переписывания дел, в сентябре 1848-го, Николай получил назначение на должность помощника столоначальника Орловской уголовной палаты, что, учитывая его юные годы, было карьерной удачей, началом возможного восхождения. Но ему не нужно было продолжение. Ему хотелось бежать.

Орел щемил недавним жизненным проигрышем, давил недоумением родных. И, став уже известным писателем, от своей «малой родины» Лесков отрекся. «Меня в литературе считают “орловцем”, но в Орле я только родился и провел мои детские годы, а затем в 1849 году переехал в Киев»^[46], – писал он, как обычно, несколько искажая факты: он провел в Орле не только детские годы и покинул его, по тогдашним меркам, отнюдь не ребенком – восемнадцатилетним юношей с жизненным опытом за плечами.

Дорога тянулась через зеленый бор. По всем приметам приближались к Киеву. Паломников, бредущих вдоль дороги к киевским мощам, становилось всё больше. Плотневший на глазах светло-серый поток, сбрызнутый то здесь, то там цветными бабьими платками, кой-где и девичьим венком, тек безмолвно, погруженный в созерцание, наполняя и лес,

и дорогу, и повозки с пассажирами тишиной, предчувствием встречи.

Внезапно всё зашевелилось, точно очнулось от полусна, обернулось на запад. Над серой грядой тумана расцвел золотой город.

Сияющие купола церквей, блеск крестов, пестрядь городских построек парили в воздухе, взмыв над юной зеленой деревьев. Еще выше, над церквями, домами, лесом сияла лазурь.

Ступенью в небо был этот город.

Купец и приказчик начали размашисто креститься, самые ревностные паломники пали прямо в дорожную пыль – несколько мгновений спустя ничего уже было не видно. Город поманил и скрылся. Спряталось и солнце – не было ему больше дела, нечего стало освещать.

Спустя два часа город появился снова, теперь уже совсем рядом. Справа возвышались Киево-Печерский и Михайловский монастыри, Святая София, церковь Андрея Первозванного – купец щедро делился с Николаем, где здесь что; чуть выше зеленел Подол. Воздух похолодел, отсырел. Прямо перед ними Днепр катил серые волны, слегка подбрасывая длинные суда.

Пока пересаживались, переключивались на шаткий днепровский паром, нагнало тучи, сделалось пасмурно. Вскоре Николай уже торопливо застегивал пуговицы новенького сюртука (утром нарочно переоделся – ветер был свеж). Сто-

явшие рядом паломницы с круглыми недоуменными лицами вздрагивали от любого толчка, крестились и бормотали молитвы. Чуть поодаль сидел на узкой скамье ветхий седобородый старец. Устремив взгляд к пещерам, он тоже молился вслух, читал дрожащим голосом из Иоанна Дамаскина: *Житийское море, воздвигаемое зря напастей бурю, к тихому пристанищу Твоему притек, вопию Ти...*

И всё это вместе – златоверхие храмы, слепенькие хатки впереди, величавая река с островами, смиренный старец с серебряной бородой, которой играл ветер, слова молитвы и всё ближе подступавшие зеленые берега – наполнило сердце таким волнением, таким предчувствием счастья, что Николай тоже начал молиться – о будущем, деятельном и умном, о том, чтобы не было впереди ни унижений, ни вопля, ибо прежнее прошло.

Так и случилось: *чудный, странный, невероятный* город подарил ему немало минут чистого восторга, беспримесного счастья. Потом, уже став профессиональным сочинителем, о любимой Украине Лесков писал с обожанием, щедро бросая на холст самые яркие краски. В рассказах о гостомельских временах, об Орле поэзия неизменно мешалась с тоской, вздохом о духе рабства, вечном насилии барина над крестьянином, мужа над женой, матерью над дитятей. Там печалилась и болела русская жизнь, здесь – подбоченьясь, сверкала улыбкой малороссийская. Бренчала в блеске чистого летнего вечера бандура, не утихая лились песни, разряженные

хлопцы и дивчины отплясывали гопака, в рот валились галушки.

Наконец-то Николай оказался на солнечной стороне.

Глава вторая

Киевские университеты

Гоголь всё мурлыкал песенки, вертелся, подсвистывал на коней, сгонял прутиком оводов и в шутливом тоне заговаривал с ямичиком. Но ямичик на эту пору попался им самый несловоохотливый, и как Гоголь его ни заводил на разговоры, наконец должен был от бесед с ним отказаться.

Н. С. Лесков. Путимец

Лестница в небо

Киев отогрел. Полыхнул куполами, окатил мягким жаром южного края, раздвинул зрение ширью просторного университетского города.

Киевские островерхие тополя по сравнению с орловскими липками показались Николаю великанами. Толпа, заполнявшая вечерами улицы, словно вечно праздновала что-то, нарядная, говорливая. И так же пестро, непривычно она звучала: малороссийский напев мешался с польским пришепетом, русский говор с еврейской картавостью. По вечерам то и дело из раскрытой рамы, из палисадника выпархивала песня. Из трактиров неслись крики шумно гулявших буршей – так

здесь звали студентов-старшекурсников. Кареглазые дивчины глядели украдкой, но держались намного свободнее великоросских.

И пахло здесь иначе – акации росли прямо у стен дядюшкиного дома и наглухо закрывали окна. Едва Николай приехал, почки как по команде выстрелили белыми цветками. Сладкий дурман проникал по вечерам в комнату, Лесков засыпал под него. Но и снаружи дышалось по-другому: ароматы цветущих вишен, персиков, каштанов составляли странную вкусную смесь, здешний «воздухец» можно было глотать и «кушать» (этот съедобный воздух он вставит потом в одну свою повесть).

Всюду, в любых гостях киевляне угощали борщом, наливкой, домашним вареньем, которое считали особенным, и обязательно хвастались рецептом – «поди не орловское», «не то что у москалей»!

Впрочем, первые недели Николаю было не до визитов – он буквально бегал по городу: с Малой Житомирской, где жил, мчался вверх, к Софии. Ликовал от покойной мощи византийской архитектуры, удивленно впитывал тихий свет человеческого достоинства, льющийся от ликов на фресках прозрачной волной, не слушая, что там объясняет бывалый хохол паломникам, разинувшим рты. Глядел на цветные мозаики в куполе, подпевал стройным литургийным песнопениям, твердил, как в полусне, забыв себя: *не вемы, на небесили есмы были или на земли*. Приложившись к кресту и иконам,

выбирался из храмовой прохлады в уже отогретый солнцем город, шел гулять.

С паперти церкви Андрея Первозванного открывался вид на Подол с узенькими переулками, грязными площадями, низенькими домами и неутихающим движением.

Подол был гоголевский, и ничто, казалось, не изменилось здесь со времен богослова Халявы и философа Хомя Брута. Так же на Контрактовой площади у резервуара с водой стояла выкрашенная яркой масляной краской деревянная статуя голого человека, разжимающего пасть дикому зверю размером с собаку – это Самсон побеждал льва. Как и прежде, толпились возле старинного фонтана хохлы в смушковых шапках и с длинными усами, насупленно дивясь подвигу библейского богатыря. Сновали с тетрадками под мышкой бурсаки – Киевская духовная академия так и располагалась при Братском Богоявленском монастыре. Шумел неподалеку от монастыря рынок, распространяя манящие ароматы. Громко зазывали прохожих торговки, чуть не в лицо тыкая свежие бублики, булки и маковники.

Под благовест лаврской колокольни Николай шагал на Андреевский спуск, по набережной, разглядывал суда, скользившие по Днепру, шел сквозь царский сад к Печерской лавре.

Не сразу он добрался сюда. Всё не складывалось, всё как-то не получалось. Наконец сподобился. Истории из Киево-Печерского патерика мать читала ему на ночь, и чуть

не всех подвижников он помнил по именам. Прохор Лебедник, умевший хлеб из лебеды делать сладким; силач Моисей Гробокопатель; иконописец Алипий; Моисей Угрин, облегчающий плотскую страсть. Все – богатыри, чудотворцы, наивные и святые, как большие дети. Давно они были ему родные, свои. Но, сойдя в пещеры, Николай оторопел.

Как потерянный бродил он в полумраке, не разгоняемом дрожащими огоньками лампад, прикладывался к мощам и старался не глядеть подолгу в строгие лики: стыдно, как в детстве – до жара, до слез. Не без облегчения вернулся на свет божий и, ободрясь, зашагал навстречу снисходившим к слабостям человеческим деревянным домикам Печерска.

Разгул здесь был совсем не орловский – горячий, ласковый.

Чистенькие окошки с горшками красного перца и бальзамина под кружевом зашпиленных занавесок глядели кротко, но весело. На крышах грелись голуби, во дворе хлопотали куры, гоготали гуси. Местные куртизанки принимали гостей «по-фамильному», с домашней простотой и казачьим хлебосольством. Гости приносили угощение – горилку, колбасу, сало, рыбицу, девушки в ответ готовили пир, который продолжался до рассвета, строго до второго звона в Лавре. Едва колокол ударял второй раз, казачка крестилась, громко произносила: *Радуйся, Благодатная, Господь с тобою*, – бестрепетно выгоняла гостей и гасила огни. На местном наречии это называлось «досидеть до Благодатной»^[47].

И всё было можно, и всё хорошо, а что не благословлено, то прощено всемилостивым Господом. Мир повернулся наконец к Николаю лицом, сотней лиц, одно другого краше. Все смотрели на него, и все ему улыбались: удалая дивчина с ямочками на щеках; сухопарый легонький богомаз из Печерского монастыря, взобравшийся под самый купол храма; усердный старOVER из «шияновских нужников»; университетский профессор с ироничным взором сквозь пенсне; нахохленный, голодный студент – бесстрашный забияка кабацких побоищ; исхудалый паломник с черными страшными ногтями на руках, прошедший по обету три сотни верст пешком...

Жизнь, как шар круглого афонского светильника, сверкала огнями, жизнь была *вертоград многоцветный*, населенный разными людьми – поэтами, учеными, чудаками, и каждый был такой славный, умный, добрый. Точно в молочной реке он купался в тот первый свой киевский год. Всё было важно, везде интересно. Он кидался то в храмы, то в кабаки, то в университетские аудитории – слушать лекции, то в городской сад – вести беседы о смысле существования земного. Времени и сил доставало на всё.

В Орле жило несколько любимых семей – в Киеве очень много очень разных людей. У них он вольно или невольно учился.

Первым в списке – не обойдешь – значился дядюшка.

Сергей Петрович Алферьев (1816–1884) – ординарный

профессор киевского Императорского университета Святого Владимира, декан медицинского факультета – цену себе знал. Спуску не давал ни студентам, ни пациентам. Тем не менее на прием к нему (у него была своя практика) неизменно сидела длинная очередь – и трепетала. Известно было, чуть что профессору придется не по нраву, закричит, затопает, только держись! Ему всё прощали, он был один из лучших терапевтов Киева. Но анекдоты об Алферьеве ходили самые уморительные. Вот такая история случилась с широко известным в Киеве фабрикантом Н. К. Кобцом.

Как-то раз старик Кобец, владелец крупного кожевенного завода, занемог. Испытаны были все домашние средства: травяные отвары, грелки – без толку. Сыновья посоветовали ему пойти на прием к профессору Алферьеву.

Но Кобец кое-что слышал о знаменитом враче.

– Говорят, он грозен. А я робок, не люблю, когда на меня кричат.

– Да не всегда же он кричит. Только под горячую руку. А и покричит, что за беда? Была бы польза...

– Нет, я боюсь, когда на меня кричат.

– Да ведь он гневается, когда пациент мямля, слишком долго раздевается. Вы вот что, папенька, сделайте: расстегните пуговицы на сюртуке и на жилетке заранее. Как войдете в кабинет – пиджак уж и сброшен. Пациент к осмотру готов. Он и не станет кричать.

Старый Кобец всё это выслушал и отправился на прием.

Начал профессор принимать, сидит Кобец в очереди ни жив ни мертв. Из кабинета то и дело раздаются грозные крики.

Сердце у Кобца замирает. Снял он шляпу, расстегнул одну за одной все пуговицы на сюртуке, потом и на жилете – готовится войти в кабинет.

Вот и его очередь!

Не успел профессор произнести его имя, как старик-сбросил сюртук и очутился перед доктором в одной нижней рубахе.

– Этта еще что? – закричал профессор. – Вы этта... что себе позволяете?

Кобец застыл.

– Или вы в баню пришли?

Старик начал пятиться – профессор за ним.

– В бане вы или в кабинете доктора?!

Перепуганный Кобец к дверям и как был – без шляпы, с сюртуком в руке – перебежал улицу, бросился к извозчику: «Гони!»

Приехал домой, едва успокоился. Нет уж, говорит, больше меня к нему и калачом не заманишь. А болезнь? Она так напугалась доктора Алферьева, что отступила.

Таков был Сергей Петрович – «надменнейший», как называл его один из мемуаристов. Однако дело свое он знал превосходно, всего добился сам, причем, как свидетельствует Лесков, без интриганства^[48]. Алферьев блестяще учился, окончил Санкт-Петербургскую, а затем Московскую меди-

ко-хирургические академии (вторую – с серебряной медалью), был на два года отправлен за казенный счет в Берлин «для усовершенствования во врачебных науках», а вернувшись, стал ординарным профессором – сначала в Московской медико-хирургической академии, затем в Киевском университете Святого Владимира.

Блеск его свершений становится особенно очевиден при взгляде на его родителей – деда и бабушку Николая Лескова. Если Петр Сергеевич Алферьев, человек достаточно образованный, до катастрофы 1812 года служил в Московском департаменте Сената, а потом умело справлялся с обширным имением сурового Страхова, то его супруга Акилина Васильевна, из купеческого рода Колобовых, была полуграмотная. Главная радость ее состояла в паломничествах.

Светлая, религиозная старушка, конечно, воспринималась сыном не без высокомерия, ее писульки он не хранил, упаси боже увидят. Уцелела только одна, от 30 января 1855 года. Сергей Петрович к тому времени давно жил в Киеве, и, судя по письму матери, поздравить ее с Рождеством профессору было недосуг. «Краня удивляед меня друг мой милой Сергей Петрович твое молчание, – пишет не ведавшая о знаках препинания и правилах орфографии Акилина Васильевна, – ... *(нрзб.)* и придумать что это значид ведь последнему писму твоему от 20 сентября прошло уже 4 месяца». Излив на бумагу свои упреки, она признаётся: «...и самая жись моя становится тягость одно воображение что

единственно сын мой и вся моя надежда ставил меня даже и не пишед и о себе»^[49].

К киевской поре родители и полунищая юность давно остались в прошлом, немного стыдном, но можно было зажмуриться – вот и нет его, словно и не было никогда. В настоящем Сергея Петровича знал весь город, его чтили, ценили и, к счастью для его непутевого племянника, навещали университетские коллеги. С самыми молодыми из них Николай подружился. Это были Игнатий Федорович Якубовский, блестящий лектор, просветитель, специалист по сельскому хозяйству и лесоводству, учившийся в Петербурге и Штутгарте, правоведы Иван Мартынович Вигура и Савва Осипович Богородский, адъюнкт-профессор по кафедре энциклопедии законоведения Николай Иванович Пилянкевич.

В теплое время вечерами молодые люди собирались в городском саду, слушали Якубовского и Пилянкевича, говоривших умно, вдохновенно и так искренне! О познании и мировом духе по Гегелю, о прекрасном и возвышенном по Канту, о единстве природы по Шеллингу. Лекции перерастали в общий разговор, в бурный спор – про будущность человечества и России, про Бога и правду, про эмпиризм и мировую душу, про стихотворения Фета и нового поэта Тютчева, недавно воспетого в главном столичном журнале. Липы благоухали, цикады катили по щебню невидимые тележки. Философия, науки, искусства, стрекот и ароматы – всё смешивалось, всё было связано, всё одно. Сердца горе-

ли, юношеские голоса сбивались на фальцет, а ночь летела – тихо, плавно. Вдруг раздавался посвист первой утренней птицы, воздух светлел, и все расходились, веселые, трезвые, со сладкой усталостью на душе.

Николай возвращался домой по пустым улицам пешком, улыбаясь себе и небу, – после этих бесед звезды словно спустились ниже. Перехватив часок-другой сна, он просыпался бодрым, свежим и отправлялся на службу.

Но не только Аполлону приносились в жертву чудные киевские ночи. С приятелями помоложе Николай служил совсем другому божеству – кудрявому Бахусу в пурпурном плаще и венке набекрень.

Пили в Киеве много: на квартирах, в «пивнице» на Крещатике, в цукерне пана Розмитальского, в трактирах Бурхарта и Круга, у Каткова на Подоле, в стенном погребе Братского монастыря, а когда хотели «засточертить», шли к Днепру, плыли на дубовых лодках в слободку на Труханов остров – в знаменитый трактир Рязанова. А уж там...

Старая добрая горилка.

После нее, особенно в студеные дни, хорошо *заходила* сладко дымящаяся варенуха: мед, травы, сушеные груши, вишни, сливы, гвоздика с корицей – бросай, что пожелаешь, что только найдется, в чугунок со спиртом, ставь его скорей в печь!

А пока преет варенуха, испытай наливочку, да не одну. Вишневка, сливянка, персиковка – все с давленными косточ-

ками; тертуха на землянике, спотыкач на черной смородине. Хлебни чарку, другую, пятую – вот тебе и рай Богометов^[50], лучше всё равно ничего не сыщешь даже в Малороссии.

«Этими-то вкусными и относительно дешевыми наливками прибывавшие из Киева студенческие банды упивались у Рязанова до зела, пока иные не начинали ползать аки скоты польские или гады, пресмыкающиеся по земле. Потом, очнувшись как-нибудь, поздним вечером, а еще чаще совсем ночью, банды эти с песнями переплывали назад на тех же дубах в Киев и приставали всегда у Рождественской церкви, на Подоле, так как тут по обоим взвозам, – Александровскому и особенно Андреевскому, тогда было множество веселых приютов, где подкутившие студенты могли еще вволю покуражиться и пошуметь, и иногда кончали свой разгул большими безобразиями»^[51].

Тогда, в конце 1840-х годов, в Киевском университете действовало четыре главных кружка. В первый входили создатели местного живого эпоса – ратоборцы и забияки, «подвиги которых далеко разносились в сказаниях по хуторам и весям» и «забавно живописались в беседах хуторных “панянок” и вообще “панского” общества». Второй был кружок пиитический, лучшим творением его почиталась эротическая поэма «Павлиниада» уроженца Черниговщины некоего Рудольфа, написанная задорно, бойко, снискавшая популярность, выходившую далеко за пределы университета и даже города. Еще действовали кружки серьезные – позитивистов

и патриотов, собиравших малороссийские песни и сказки^[52].

Рядом с университетским жил – пусть не так буйно, но тоже заметно и звучно – артистический Киев.

В начала 1850-х годов здесь развлекали публику сразу несколько частных театров; в них играли русские труппы, но чаще и с большим успехом польские. В Киев приезжали с концертами и итальянские знаменитости, особенно активно во время *Контрактов* – своего рода торговой биржи, когда в город собирался торговый люд со всей губернии. Однако любили киевляне и долгие домашние вечера, проводя их за зелеными ломберными столами, вытеснявшими даже танцы.

Читали не очень много. Тем не менее книжных лавок в городе было пять.

В «Печерских антиках» Лесков с улыбкой вспоминает поэта и отставного капитана Павла Петровича Должикова, открывшего при своем магазине «Аптеку для души», она же «Кабинет муз» и «Кабинет для чтения новостей российской словесности». В «Аптеке для души» можно было почитать свежие газеты и литературные журналы – Павел Петрович их исправно выписывал, а вот новых книг почти не покупал.

За литературными новинками ходили на Крещатик, к Степану Ивановичу Литову, державшему лучший в Киеве книжный магазин. У Степана Ивановича можно было найти и Пушкина, и Гоголя, и Тургенева, самые свежие издания, учебники, карты, справочники; он лично ездил заказывать

книги в Москву, Петербург и Львов. Но и о доходах не забывал, за что и удостоился сомнительной чести быть упомянутым в самой первой заметке Лескова – о Евангелии на русском языке, которое продавалось у Литова слишком дорого.

Книгами в Киеве торговали, петербургские и московские газеты читали, но литературная жизнь в начале 1850-х была скудная, отчасти комическая, полная самых диковинных экземпляров.

Страннолепный богатырь Виктор Ипатьевич Аскоченский был из них первый. Бурный, безвкусный, но даровитый, из бывших семинаристов – говорили, что он выглядит, как «переодетый архиерей». Поповичей Лесков отличал сразу – по повадке, осанке, словечкам – и почти против воли испытывал к ним родственные чувства. Родных ведь не обязательно любишь, но куда денешься – своя кровь. Аскоченский, сын священника, действительно отучился не только в семинарии, но и в Киевской духовной академии, был статен, недурен собой, из него и в самом деле наверняка получился бы славный владыка. Но в духовные он не пошел, служил воспитателем детей киевского военного губернатора Дмитрия Гавриловича Бибикова, одевался броско и смешно – носил шляпу и панталоны не в цвет; всем дерзил, сыпал грубоватыми остротами, сочинял то едкие, то лирические стихи, а вместе с тем написал серьезный обличительный труд о недостатках русского университетского образования. Девушки с Подола от Виктора Ипатьевича были без ума.

Про легендарную силу его рассказывали анекдоты; говорили, что господина Аскоченского в гости звать даже опасно: без погнутой ложки он хозяев не оставлял, а входя в раж, гнул и подсвечники.

Во времена его академической юности, когда инспектор отобрал у студентов чубуки и отнес их отцу ректору, Аскоченский дерзко явился за своей собственностью. Ректор, естественно, указал ему на дверь. Тогда взбешенный студент схватил лежавшие на столе трубки и в одно движение все их переломил на колене^[53]

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Комментарии

1.

См.: Михайловский Н. К. Литература и жизнь // Русское богатство. 1897. № 6. С. 107; Меньшиков М. О. Художественная проповедь (XI том сочинений Н. С. Лескова) // Меньшиков М. О. Великорусская идея: В 2 т. М., 2012. Т. 2. С. 510–529; Волынский А. Л. А. С. Лесков // Волынский А. Л., Измайлов А. А. Н. С. Лесков: классик в неклассическом освещении. СПб., 2011. С. 49; Федотова А. А. «Трудный рост»: рецепция в прозе Н. С. Лескова. Ярославль, 2018. С. 7–8.

2.

Чехов А. П. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Письма: В 12 т Т. 1. М., 1974. С. 88.

3.

См.: Меньшиков М. О. Художественная проповедь. С. 519.

4.

См.: Суворин А. С. Дневник. М., 2000. С. 374.

5.

Смирнов а-Сазонов а С. И. Из дневника // Н. С. Лесков в воспоминаниях современников. М., 2018. С. 374.

6.

Фидлер Ф. Ф. Н. С. Лесков // Там же. С. 488.

7.

См.: Пильский П. Н. С. Лесков: К столетию со дня рождения // Там же. С. 593.

8.

Гуревич Л. Я. Из дневника журналиста // Там же. С. 478.

9.

Пильский П. Указ. соч. С. 593–594.

10.

Лесков Н. С. Дворянский бунт в Добрынском приходе // Исторический вестник. 1881. Т. 4. № 3. С. 363.

11.

Цит. по: Протопопов В. В. У Н. С. Лескова // Н. С. Лесков в воспоминаниях современников. С. 604–605.

12.

Лесков Н. С. Заметка относительно «Очерков из украинской литературы» Н. И. Петрова // Новости и Биржевая газета. 1883. № 104. 16 июля. Отдел «Русская летопись».

13.

См.: Алексина Р. М. Новое о детских и юношеских годах Лескова: По материалам орловских архивов // Литературное наследство. Т. 101. Неизданный Лесков. Кн. 2. М., 2000. С. 274.

14.

См.: Ашихмина Е. Н. Родственники, соседи, прототипы персонажей Н. С. Лескова в документах ГАОО // Лесковский сборник – 2017. Орел, 2017. С. 6–12.

15.

См.: Она же. В этом странном городе: В 3 кн. Орел, 2012. Кн. 2. Ранние годы. Гимназия. С. 44–46.

16.

Лесков Н. С. Автобиографическая заметка // Лесков Н. С. Собрание сочинений: В 11 т. (далее – Собрание сочинений). Т. 11. М., 1958. С. 10.

17.

Он же. Мелочи архиерейской жизни // Там же. Т. 6. М., 1957. С. 399.

18.

См.: Алексина Р. М. Указ. соч. С. 275.

19.

См.: Там же. С. 278–279.

20.

См.: Слуцкая Т. К. Лески //Дворянские усадьбы Брянского края: из истории культурного наследия Брянщины: В 2 т. Брянск, 2018. Т. 1.С. 162–175.

21.

См.: Материалы для истории церквей Брянского края. Севская, Брянская, Карачевская и Трубчевская десятины, 7136 (1628)–1746 гг./Сост. свящ. Г. И. Холмогоров. Брянск, 2010.

22.

См.: Алексеев В. П. Левитский род из села Лески: Родословная писателя Н. С. Лескова // Парыгинские чтения: Материалы литературно-краеведческой конференции. Брянск, 2001. С. 32–35; Маршынцева Н. В. Материалы для родословной Н. С. Лескова (по документам Государственного архива Брянской области) // I Тихановские чтения: Материалы краеведческой научно-практической конференции (14–15 ноября 2006 г.). Брянск, 2007. С. 83–87.

23.

См.: Голос народа. 1917. № 155. 31 октября.

24.

См.: Наша деревня. 1925. № 2 (17). 16 января.

25.

Лесков Н. С. Автобиографическая заметка. С. 8.

26.

Он же. Соборяне // Лесков Н. С. Собрание сочинений. Т. 4. М., 1957. С. 70.

27.

Он же. Мелочи архиерейской жизни. С. 458.

28.

Раич С. Е. Автобиография //Русский библиофил. 1913. № 8. С. 17–18.

29.

См.: Аксаков И. С. Федор Иванович Тютчев: Биографический очерк // Ф. И. Тютчев в документах, статьях и воспоминаниях современников. М., 1999. С. 300.

30.

Из письма митрополита Филарета зятю П. С. Алексинскому от 2 июня 1832 г. // Русский библиофил. 1913. № 8. С. 18–19.

31.

Лесков Н. С. Автобиографическая заметка. С. 11.

32.

Там же.

33.

Фрагменты незавершенного романа Лескова «Человек без направления» см.: Неизданный Лесков. Кн. 1. М., 1997. С. 457.

34.

Лесков Н. С. Письмо П. К. Щербальскому. 16 апреля 1871 г. // Лесков Н. С. Собрание сочинений. Т. 10. С. 310.

35.

Лесков А. Н. Жизнь Николая Лескова: По его личным, семейным и несемейным записям и памятям: В 2 т. М., 1984. Т. 1. С. 66.

36.

Лесков Н. С. Дворянский бунт в Добрынском приходе. С. 357–358.

37.
Лесков А. Н. Указ. соч. Т. 1. С. 63.

38.
См.: Там же. С. 60–63.

39.
Там же. С. 61.

40.
Цит. по: Там же. С. 56–57.

41.
Лесков Н. С. < Автобиографическая заметка > // Лесков Н. С. Собрание сочинений. Т. 11. С. 18. О гимназических годах Лескова см.: Ашихмина Е. Н. В этом странном городе. Кн. 2. С. 58–127.

42.
Лесков А. Н. Указ. соч. Т. 1. С. 121.

43.
Там же. С. 111–113.

44.

Там же. С. 135.

45.

См.: Лесков Н. С. Умершее сословие // Лесков Н. С. Собрание сочинений. Т. 8. М., 1958. С. 450–462.

46.

Он же. Печерские антики (Отрывки из юношеских воспоминаний) // Там же. Т. 7. М., 1958. С. 134.

47.

См.: Кудрявцев П. П. Из моих лесковиан: Материалы для изучения Н. С. Лескова. 26 июня 1934 – 6 февраля 1936 // Российский государственный архив литературы и искусства (далее – РГАЛИ). Ф. 275. Оп. 1.

48.

См.: Лесков Н. С. <По поводу смерти С. П. Алферьева> // Новости и Биржевая газета. 1884. № 91. 11 апреля.

49.

Рукописный отдел Института русской литературы Российской академии наук (далее – РО ИРЛ И). Ф. 220. Д. 131. Л. 1.

50.

См.: Лесков Н. С. Путимец //Лесков Н. С. Собрание сочинений. Т. 11. С. 62.

51.

Он же. Маленькие шалости крупного человека (Два анекдота о Дмитрие Гавриловиче Бибикове) // Русский мир. 1877. № 4. 5 января.

52.

См.: Нос С. Д. Страничка из моих воспоминаний // Киевская старина. 1893. Т. 41. № 6. С. 510–511.

53.

См.: Лесков Н. С. Печерские антики. С. 213–214.